

Анатолий Даров

БЛОКАДА



Анатолий Даров

Блокада

«ПОСЕВ»

1964

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2РОС=РУС)6-41

Даров А. А.

Блокада / А. А. Даров — «ПОСЕВ», 1964

ISBN 978-5-85824-206-2

Автобиографический роман Анатолия Андреевича Дарова (Духонина, 1920–1997) имеет длинную историю. Весной 1942 г. автор был эвакуирован из осажденного Ленинграда в Пятигорск, где летом попал под немецкую оккупацию. Первый вариант книги был написан по свежим следам и публиковался под названием «Ленинградский блокнот» в газете «Новая Мысль» в Николаеве в 1943 г. Публикация вызвала нездоровый интерес гестапо, и следующий вариант автор издал уже после войны, в 1945 г. в Мюнхене, будучи беженцем, малым тиражом на ротаторе. Но книгу заметили и положительно оценили эмигрантские критики. Части ее печатались в журнале «ГРАНИ» в 1954–1955 гг. под названием «А солнце всё же светит», затем по-французски в издательстве «Галлимар», где роман выдержал семь изданий, а Харрисон Солсбери в известной книге «900 дней» во многом опирался на показания Дарова. Окончательный вариант романа «Блокада» вышел в Нью-Йорке в издательстве братьев Раузен в 1964 г.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2РОС=РУС)6-41

ISBN 978-5-85824-206-2

© Даров А. А., 1964

© ПОСЕВ, 1964

Содержание

1. Кубань – Ленинград	6
2. Встреча на диспуте	9
3. Все о том же	14
4. Лебединая песня фонтанов	18
5. Хождение в народ	20
6. Мир идет на убыль	26
7. Буря грянула	29
8. Окupy	34
9. Первые удары	37
10. Фоновое кольцо	41
11. «Административка»	45
12. Дракон, упавший с неба...	47
13. «Поцелуев» госпиталь	52
14. Спите, герои	58
15. Жить можно	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62



Анатолий Даров Блокада



Работа художницы de Roberty la Serda

1. Кубань – Ленинград

Скорый поезд, несущий на себе пыль огромных пространств, выбившийся из графика еще где-то под Орлом, с полного хода врезался в широкую, извилистую сеть Большой Москвы. Быстро мелькают подмосковные дачи, аляповатые рекламы, заводы, неожиданно многоэтажные дома.

Молодой человек чуть не весь влез в окно, плечами на распор, кричал:

– Здравствуй, Москва, Москва моя!

Рубаха вылезла из брюк, обнажая загорелую широкую спину. Мало что можно было видеть в окне рядом стоящему приятелю; он ворчал:

– И пусть будет твоя, но дай же и другим посмотреть на Белокаменную, твердокаменную, слышишь, Иван?

– А что, завидно? – Иван резко повернулся, щуря зеленовато-хитроватые глаза и улыбаясь всем скуластым, обветренным лицом. Курносый нос облупился, волосы на висках за лето стали совсем пепельными, жесткими и торчали во все стороны. – Конечно, Москва моя, а не твоя. Можешь ехать дальше, в свой Севпальмир. Дыши там, на здоровье, духами и туманами, кашляй и читай Блока... Вот видишь, Москва-Сортировочная! Ура! Херсон перед нами!

– Дурак, еще не проспался со вчерашнего.

– С какого вчерашнего, когда мы уже двое суток в дороге?

Эта была правда. Третью тысячу километров отстукивали под ними колеса.

Друзья выпили третьего дня, накануне отъезда из родного города, который был и не большим, и не знаменитым, но родным, и любимым.

Главная улица, как и во всех городах Кубани, называлась Красной. Красного в ней, правда, было очень мало, если не считать нескольких двухэтажных домов дореволюционной постройки и одного нового пятиэтажного дома – детища первой пятилетки. Рассказывали, что не успели его построить, как инженер сел в тюрьму: дом как-то подозрительно покосился, пришлось стены валить и ставить заново. Жильцы долго не могли спать спокойно: вдруг завалится?

Базары были во все дни, за исключением дождливых. Колхозники привозили свои «излишки», городские торговки – всякое барахло, от современных мешковатых, поношенных костюмов до изъеденных молью смокингов, антикварные вещи, книги, старые журналы, открытки с Верой Холодной и граммофоны с тубным гласом.

Был фотограф-моменталист (частник, с видами Кавказа и породистой фанерной лошадию. К лошади полагался всадник, обязательно в черкеске и с кинжалом).

В жару мальчуганы продавали воду – по пятаку за кружку. Если вода была со льдом, то и с соломой. Выпив, каждый старательно тряс кружку кверху дном: все пили из одной – люди свои, русские.

До самой войны внешне много еще оставалось от нэпа, но базарный дух был уже не тот. Больше покупали, чем продавали (основное отличие). Меньше стало нищих, почти перевелись мелкие воры, а крупные были незаметны. По вечерам молодежь танцевала в городском парке, но чаще пары ходили из конца в конец Красной улицы. Все грызли жареные подсолнечные семечки, шелуху сплевывали на тротуары. Это считалось «некультурным», но все же сплевывали.

Ничего особенного не было в городе Гирее, но была – плыла охватывающая его серебряной подковой – Кубань, широкая, полноводная река: двуглавым орлом слетает она с Эльбруса и двумя рукавами впадает в два моря – Черное и Азовское: берега ее – если не бескрайняя степь, то дубовые рощи, пески или камыши.

А за городом, с южного форштадта, стоит гора невысокая, но называется она – Кавказская. Это и есть начало Кавказа.

* * *

Поезд (Сочи – Ленинград), был единственным, в котором можно было проехать Москву без пересадки. Но какой же уважающий себя русский не остановится в Москве хоть на денек?

Вокзальная площадь встретила друзей обычным круглосуточным столпотворением, которое поражает многих, даже издавших виды иных столиц иного мира. Москва не больше других европейских столиц, но как железнодорожный узел она не знает себе равных, связывая тысячекилометровые пространства страны, едва успевая принять и отправить потоки грузов и людей.

Друзья были не из тех, которых поражает столица, но и они каждый раз, возвращаясь с каникул, после ласковой и мягкой тишины родного города слегка обалдевали в московской суматохе.

Был у них в Москве еще один одноклассник-земляк.

Студент Московского авиационного института (МАИ) Гриша Ивлев жил в общежитии недалеко от института, на «развилке» Ленинградского и Волоколамского шоссе. Здесь Москва кончается – пустырями и далеко разбросанными друг от друга новостройками. Недалеко отсюда – конечная станция метро второй очереди, «Сокол», стадион «Динамо», ресторан «Спорт» (бывший знаменитый «Яр») и газетно-журнальный комбинат «Правда».

Здесь же, недалеко от МАИ, открылся недорогой, преимущественно для студентов, ресторан «Сочи» – веселый деревянный домик с оградой, оплетенной повитью, и с пальмами в кадках. Здесь и работал, вернее – подрабатывал судомоем – Гриша Ивлев, будущий авиаконструктор.

Он был рад приезду гостей, знал, что приедут, ждал их. Вместе и вволю пообедали – подавал сам Ивлев. За бутылкой дешевого вина раздумывали, куда податься. Хотелось Дмитрию побывать всюду – и в Сокольниках, где жил Якушев, и в Центральном парке, и в Химках, и в «Аквариуме». Но Иван сказал одно слово: «Выставка», – и всем оно понравилось:

– Идет.

– Едем. Катнем.

– И кутнем.

Имелось в виду специальное «Выставочное» пиво, лучшее в Москве. Нигде, кроме Выставки, оно не продавалось.

По дороге пришлось использовать все виды прославленного московского транспорта: начали с метро, затем – на «перекладных» трамваях и автобусах, и, наконец, на двухэтажных троллейбусах. На втором этаже разрешается курить и пепел сбрасывать на головы прохожих. На пересадках пили пиво – жди, пока доберешься до «Выставочного».

Характер путешествия определил стиль культпохода.

Во-первых, на Выставку попали через забор (по заборной книжке). «Лишь бы не было собак», – сказал Иван. Собак не было.

Во-вторых, напились, наконец, «Выставочного».

В-третьих, поссорились. Ссора началась из-за того, что Ивлев, после всяких племенных коров (с доярками), коней (с конюхами) и мичуринских фруктов (с мичуринцами), вдруг воззрился, закинув голову, на монумент Сталина среди центральной аллеи.

– И этого... сюда... привели... поставили. Как племенного производителя, что ли? Чем же его тут, дьявола, кормят? Сенцом, что ли? А поят чем? Кровушкой нашей, наверно!..

Стоит ли говорить о том, что, в-четвертых, их выставили с Выставки. Благо до милиции не дошло. Это был один из последних дней сезона, москвичи валом валили на бесплатную раздачу редкостных фруктов, по этому поводу пьяных было много, на них не обращали внимания.

Сумерки застали компанию на гранитном берегу Московского моря, у Химкинского вокзала, славящегося своим рестораном, но зайти – уже не было денег. Ничего, зато выкупались, ныряя прямо с дебаркадера, и протрезвились.

Побывали на Тверском бульваре, в гостях у Пушкина. Поэт стоял, по-прежнему задумчиво, склонив немного набок свою самую умную, как сказал Николай I, в России голову, не смотря в сторону мрачного, серого дома «Известий». Но лик поэта при свете фонарей – его собственных, его телохранителей, отлитых из той же бронзы тем же Опекушиным, – казался печальней, чем днем.

– Главное, пройти около, – говорил Дмитрий, – и поздороваться, тогда я могу спокойно ехать. Он, уже почти ленинградец, т. е. человек, по гроб жизни не признающий первенства первопрестольной, – все же любил Москву, любил бывать в ней и зимой, и летом, бродить по бульварам и площадям.

* * *

Последний поезд на Ленинград отходил в 11.00. Дмитрий вбежал на платформу тоже в 11.00. – И вот снова стук колес, и снова замирает сердце в восторге от того, как много земли оставили нам наши предки и как прекрасна и необъятна эта земля!..

Поезд, хоть и не «Красная стрела», но летит стрелой по единственной в мире прямой дороге, натянутой между двумя столицами, как струна. Постепенно нарастает шум, как рокот прибоя, накатывающегося на прибрежный гравий.

Дмитрия томило какое-то предчувствие, хотя ничему «такому» он не привык верить. Почему-то, прощаясь, плакала мать, как будто в первый раз уезжает, и ведь не Бог весть куда. «Быть может, – думал он, – на этот раз я уезжаю из дому “всерьез и надолго”» (ему нравились эти слова Ленина о нэпе). Не предстоит ли что-нибудь великое и страшное, грандиозная катастрофа, трагедия, – и надо было еще больше, целиком и насквозь, пропитаться южным солнцем, веселым ветром и любовью к жизни, чтобы мужественно устоять во всех бедствиях и остаться самим собою.

Потом он уснул. Ему снились развалины каких-то замков и крепостей, пивные бочки, падающие с неба, шторм на море, зеленоглазая девочка с желтыми косичками, потом еще что-то – пока кто-то не крикнул у него над ухом:

– Херсон перед нами, господа неврастеники!

Поезд подходил к Ленинграду-Сортировочному, а перед Дмитрием стоял Саша Половский, лучший друг по институту, маленький, каштаново-курчавый, синеглазый минчанин. Он крепко скрестил руки на груди и смотрел в упор.

– Свинья – почему не писал?

– А ты?

– Я – другое дело. Я, может быть, был влюблен.

– Поздравляю. Вечно в кого-нибудь.

– Поздравь свою бабушку. Давай лучше лапу, да хоть посмотрю на тебя... Хорош гусь, нечего сказать. Кажется, ты еще способен расти, дубина стоеросовая? Загорел, черт. И глаза совсем какие-то голубые стали. И чуб на месте. Нос орлиный. Нет, зачем я сказал – гусь? Орел – это да. Курск опять же.

– А ты что розовенький такой, Саша?

– Да еще в Минске от стыда покраснел...

– За что же?

– Да за любовь свою. Ты же меня знаешь. Ну, никак не мог поцеловать. Так и уехал. А теперь – стыдно.

2. Встреча на диспуте

Кончилось лето, солнцем согрето, – по небу ползут тучи хмурой ленинградской осени. Срываются первые уверенные капли, чтобы вскоре повиснуть – с утра до вечера – «мелкой сеткой дождя». И это над бескрайним, рвущимся вверх колокольнями и золотыми шпилями дворцов городом! Стыд и срам «этой скудной природы» русского Севера – ограниченное, тупое, глухое небо. Но все равно, это небо родины, под ним рождались и умирали замечательные люди.

31 августа торжественно были закрыты петергофские фонтаны. Теперь фонтаны будут лить с неба.

На следующий день начались занятия в университете, академиях, институтах, училищах и школах.

Что делает студент, возвращаясь в институт после каникул? Прежде всего, как серьезный мужик – хозяйство, он заводит конспекты лекций. Дмитрий старательно вывел на обложках: «История народов СССР», «Западноевропейская литература», «Экономическая география СССР», «Древняя русская литература» – все это церковно-славянской вязью с завитушками.

Уж так повелось, что первые месяцы, до Нового года уходили в учебу: ни одна лекция не пропускалась; потом уходили в себя, т. е. ничего не делали. Правда, Саша Павловский никогда из себя не выходил, писал стихи и читал переводные романы западных и американских писателей. Когда же наступала зачетная сессия, рвали и метали: рвали свои конспекты, метались в поисках чужих, бегали по библиотекам, просиживали над книгами ночи напролет. Результаты экзаменов соответствовали стихийным методам подготовки: иногда были блестящие, но чаще – «скользящие», еле-еле средние.

Первый год учебы и жизни в Ленинграде они назвали культпоходным: экскурсии в музеи, парки, дворцовые пригороды организовывали, помимо института, сами. Второй год был спортивно-бильярдным, причем последний вид спорта грозил стать самым продолжительным и пагубным пороком, не случись крупного проигрыша с дракой.

– С тех пор как отрубило, – рассказывал Саша отцу, хорошему своему приятелю, старому бухгалтеру фабрики «Красная нить», – и рубил ладонью воздух перед его сизым носом.

– Каким будет этот год, – сказал Саша Дмитрию, – мы, конечно, не можем знать (было бы что жрать), но мне бы хотелось, чтобы – театральным. По-настоящему, не как раньше, от случая к случаю, а планоно-календарно. Планоно-экономически.

– Вот найдем работу, хотя бы на 2–3 дня в неделю, – мечтал Дмитрий, – тогда заживем: все театры обойдем.

Работу найти было нелегко, хотя предприятия охотно брали студентов, зная их бедственное положение, но всех не возьмешь – их сотни тысяч!

Саша, никогда не откладывавший на завтра то, что завтра он вряд ли сделает, сразу же после этого разговора заказал билеты на концерт артистов московского Малого театра.

Но этот год не стал для Саши ни театральным, ни учебным. Пришла телеграмма из Минска о смерти отца...

Многие из провожавших девушек чуть не плакали, думая, что в последний раз видят влюбчивого Сашу.

В институте он был знаменит. Во время студенческих волнений, вызванных тем, что правительство, «учитывая рост материального благосостояния трудящихся», решило отнять стипендии у студентов и тем самым «покривить» конституцией, Саша зарифмовал это позорно фальшивое слово с другим, откровенно позорным: проституция. Рифма была не ахти какая, но в такие моменты взволнованным массам только это и нужно. Били стекла в общежитиях, кричали, кто во что горазд, и, конечно, пели песни. Сашу подняли на щит. Поносили, да и

бросили – прямо в лапы НКВД. Самым обидным было то, что дебош он устроил в компании чужих студентов, а донесли свои. Пока он сидел, многие дрожали – от директора до дворника, который, выпив, согласен был с Сашей:

– Оно, конечно, хворменная простипуция.

Но Саша никого не впутал, ото всего «отбрехался», вышел через три месяца бледным, пухленьким и веселым. Больше всего он был доволен тем, что «сидел в одной тюрьме с Лениным», на Шпалерной.

Директор института, старый революционер-публицист, знал и Ленина, и Шпалерную. Он полюбил Сашу за его удачное сиденье. Это он дал ему денег на дорогу и обещал что-то придумать.

Дмитрий, оставшись один, заскучал. Студенты редко бывали дома. Одни работали, другие, как и он сам, искали работу – на это официально давалась одна треть учебного времени, но фактически пропускалось больше.

На курсе и в общежитии все ребята были хорошие, но кто-то же предал Сашу? Для Дмитрия, как и для многих, юных и доверчивых, это был первый удар в жизни.

* * *

В Доме писателя начался долгожданный – лет шесть не было – диспут о советской поэзии. Съехались почти все крупнейшие поэты и критики страны.

Вход на диспут был свободный, но мест не хватало. Жильцы общежитской комнаты, в которой третий год жил Дмитрий, были дружными. Один обычно ехал раньше и занимал места для остальных трех. Сашина кровать осталась пустой.

Все трое – были поэтами. Какие они писали стихи, никто не знал, кроме них самих. Выпив, они нараспев, с подвывом, читали стихи, дружно хвалили друг друга, на остальных смотрели свысока. Алкаева любили за то, что не писал стихов. Печатались они, укрываясь за псевдонимами, по принципу местничества: Сеня Рудин с Северного Кавказа (он же Рудокоп) – в «Орджоникид-зевской правде»; Ваня Чубук («Василько»), полтавчанин, – в «Полтавской правде»; сибиряк Володя Басов (в просторечьи и литературе – Бас) – в трех «Правдах» сразу: Хабаровской, Омской и Новосибирской. «Ну, и “правд” развелось, – говаривал он, – боюсь, как бы меня не пропечатали в “Колымской правде”».

Студенты с партийным стажем, комсомольские активисты и маменькины сынки недолюбливали трех «басенят», называли их кудреватými Митрейками.

*«Кудреватые Митрейки,
Митреватые Кудрейки —
Кто их, к черту, разберет!» —*

писал жестоко-злослычный Маяковский о поэтах-лириках Кудрейко и Митрейко. Так он «репрессировал» многих поэтов и писателей, например, талантливого П. Доронина. Все эти поэты умолкли сами, или их перестали печатать, или посадили. Некоторые из них остались живы и пришли на диспут. Молча сидели они, постаревшие, хлебнувшие, видно, горя и опустившиеся.

«Агитатор, горлан-главарь», их гонитель, давно уже был в могиле, сам не выдержав переменного, как в электрическом токе, напряжения новой эры, которую он так искренне и талантливо воспевал и приветствовал.

Молча сидела за двадцать лет не напечатавшая ни строки поэтесса, прекраснейшая женщина Северной Пальмиры. Муж ее был расстрелян, сын сослан, ее считали тоже погибшей. А она жила. Молчала. Ждала. Чего? Кто знает? Чего мы все иногда ждем? Какого-нибудь лег-

кого толчка или тяжелого удара, мимолетного передвижения чувств, как облаков в небе, или великого обвала...

Поэзия есть во всем: и в хорошей прозе, и в Николаевском мосту, и в шпиле Адмиралтейства, и в мичуринском яблоке. И меньше всего ее в плохих стихах. О них и шла речь на диспуте, который удался на славу, если не считать, что поэты обязательно должны были переругаться между собой и с критиками. Под высокими сводами старинного белого зала висела сплошная ругань. Реплики «дурак», «сам идиот» – никого не удивляли и не огорчали. Наоборот, радовали. Это же была хоть какая-то свобода слова.

В президиуме, как на Олимпе, в облаках дыма сидели маститые – лысые или седые.

Читать свои стихи никому не разрешалось, чтобы диспут не постигло «стихийное бедствие». Некоторых, пытавшихся протащить свое в виде цитат, стаскивали с трибуны за фалды, если не фраков, то все же приличных пиджаков.

И только в последний, десятый день диспута кто-то из критиков вспомнил, что диспут должен был проходить «под знаком Маяковского» – и ни слова о нем.

– Почему же, – возразил один молодой поэт, – хоть под знаком Зодиака – не все ли равно?

– Лучше под знаком любви, – крикнул Бас (басом), – любовь – это сердцевина сердца.

У того, кто вспомнил о Маяковском, спросили, что он писал о «водовозе Революции» раньше.

– Что он водовоз, – ответили с галерки, – и вообще, уважаемый, кто ваши родители и чем они занимались до 17-го года? (Смех).

Посетила диспут еще одна женщина, красавица, причастная к литературе только потому, что большой поэт имел несчастье ее любить любовью «пограндиознее онегинской». Сплетничали, что за ней ухаживал, в ореоле своей славы, моложавый маршал Тухачевский.

*«...Их и по сегодня много ходит,
всяческих охотников до наших жен...»*

А еще была на диспуте одна девушка, которая до сих пор не имела никакого отношения к литературе, а если и будет иметь, то лишь по тому месту, какое она займет среди героев этого повествования.

Окололитературных барышень было полно, но другой такой не было.

– Это не поэтесса, – сразу определил Бас, – это сама Поэзия.

– А сложена... – шептал Сеня Рудин.

– А опять же глаза, глаза – зеленоватости озерной, – почти стихами бормотал Вася Чубук.

Посматривали на нее и с Олимпа умеющие «пленяться со знанием дела». Но всех очарованней глядел Дмитрий. Что-то смутно знакомое, родное и близкое было в ней.

В антракте она прошла мимо переругавшихся между собой кудреек (они и в самом деле были весьма кудлаты и лохматы, недаром дворник называл их дворняжками), взглянула на Дмитрия – не мимоходом, не вскользь, а серьезно и даже недружелюбно. Тон, с которым она к нему обратилась минутой позже, круто повернувшись, шелестя рубцами плиссированной юбки, вполне соответствовал выражению ее больших, хотя и суженных прищуром, глаз:

– Не вы ли – Дмитрий Алкаев?

– Д-д-а, я.

– Я потеряла целый день, чтобы вас найти. Была и в вашем институте, и в общежитии, наконец, приехала сюда, в это сборище явно ненормальных людей.

Кудрейки, сделав вид, что ничего не слышат, разошлись в разные стороны, чтобы сойтись у буфета для обсуждения новой поэтической темы.

Помолчав немного, она продолжала, видимо, довольная его заиканием:

– Я – Тоня Черская. Не путать с Чарской. Устала, пока вас нашла. Потому и сердита. Не обижайтесь. Помните меня?

– Д-да, к-конечно, как же.

– Мы же вместе учились в Гирее, до 5-го класса. Потом нас раскулачили, т. е. отобрали магазин. Отца отправили в Сибирь, а мы с мамой после долгих мытарств попали в Ленинград, к сестре. В этом году по одному делу я была с мамой в Гирее. Она там и осталась. Там я и узнала, что вы учитесь в Ленинграде, адрес взяла у вашей мамы...

Все вспомнил Дмитрий... Очереди за хлебом, кукурузным и сырым. Старшие братья, приходя из школы, по очереди толкут в ступе просо. Просо привозит из своих командировок отец. Но главное – мать. Она умеет варить борщ из лебеды, печь просяные лепешки на сухой сковороде и даже котенку выгадывать какие-то крохи. Котенок все-таки сдох. Старший брат был огорчен больше всех:

– Жрать нечего, а мы позволяем сдохнуть почти взрослому коту тигровой масти. Теперь попробуй, съешь его. Эх вы, гуманисты! (Последнее относилось к матери).

У матери опухли ноги, она с трудом ходит на базар, где уже ничего не продают, только меняют.

Детей не выпускали на улицу после пяти вечера. Да и взрослые не особенно разгуливали. Ходили слухи о людоедстве. По ночам скрипели телеги – собирали и увозили трупы. Трупы были – как плоды, подточенные червем. Ночью их соберут – утром нападают снова – плоды новой, после нэпа, политики. Со всех опустошенных станиц крестьяне тянулись в города, крупный железнодорожный центр. Железнодорожники – все же привилегированная каста, куда-то ездят, что-то привозят.

В школе в каждом классе – опухшие дети. Им дают бесплатный горячий завтрак – во время большой перемены. Все ходят подстриженные под машинку. Раз в неделю раздевают наголо: ищут вшей.

Веселая худенькая Тоня, дочь лавочника, перестала ходить в школу. В лавочке открыли кооператив: гвозди, лопаты, скобяной товар – железо.

Дети учили наизусть стихи:

«Поп – крестом, кулак – обрезом,
Мы – колхозом и железом».

Или:

«Днем, и ночью бегут паровозы,
И упругие рельсы гудят,
Городам говорят про колхозы,
А деревне про город твердят».

...Они два года сидели за одной партой, изредка вежливо дрались. Учились хорошо.

– Любишь ли ты меня? – спросила она однажды.

– Да, но ты же не мама, – ответил он.

Родные ходили друг к другу в гости. В Тонином доме был рояль. Она умела тыкать в клавиши, пока одним пальцем. Никто ее не учил. Не до того было.

Брат-студент спрашивал:

– Если Тоня тонет, что делает ее кавалер Митя?

– Он плачет, – говорил отец.

– Дурак, надо спасать, тащить за косички, – советовал брат.

А Митя и в самом деле плакал. Надоели насмешки.

И когда Тоня уехала, он был даже рад...

Рад ли он был теперь этой встрече – через столько лет, среди самых замечательных, хотя и «ненормальных», русских людей? Он не знал. Но руки его, когда он помогал ей надеть пальто, дрожали.

«Любовная дрожь а-ля мадам Вербицкая», – подумал с досадой, но глядел на нее по-прежнему всех зачарованней – на девушку, пришедшую из детства.

3. Все о том же

Год и в самом деле обещал быть театральным. Тоня выкупила билеты, заказанные Сашей. – Вот я буду вместо Саши – он был твой лучший друг? И я буду. Ведь мы же одни здесь с тобой, землячок...

Она училась на 3-м курсе ларингологического (болезни уха, горла и носа) института. Почему она поступила в этот институт – и сама как следует не знала. Но училась хорошо. Два года была отличницей, хотя в стипендии не особенно нуждалась: жила у «сестры за пазухой», а сестра – у своего мужа, молодого генерала, крупного штабиста. Это он выхлопотал амнистию отцу, и дом их на Кубани приказано было снова отдать им «на вечное пользование». Но отец приехал с дальневосточным экспрессом едва живым и вскоре умер. Дом почти развалился. Ради него и ездили этим летом в Гирей: Тоня – чтоб только посмотреть, сердцем прикоснуться, мать – с твердым намерением больше не расставаться. Получив от генерала деньги на ремонт, она осталась в Гирее, но взяла с Тони слово приехать будущим летом.

– Ты здесь родилась, – сказала она, – люби свой дом. Что родина без родного дома? Ты не помнишь, как мы скитались, пока добрались до Ленинграда...

Тоня забыла о том тяжелом и страшном, что было в детстве. Она росла избалованной и капризной, инстинктивно с лихвой требуя от жизни то, что раньше было отнято. Генерал души в ней не чаял.

Ленинградские дети – организованные. Они с пеленок знают, что такое колыбель революции, «Аврора», Зимний, Смольный. Аничков дворец был отдан им – там они строили или ломали: строили из себя строителей социализма, чтобы всю жизнь потом ломать над ним голову.

Очень долго Тоня думала, что город Ленинград построен Лениным, пока генерал довольно сердито не объяснил ей, что не Лениным, а Петром Великим. Генерал не пропускал ни одной премьеры, ни в опере, ни в драме. Если он брал ложу, то брал с собой и Тоню. Театр был духовной отдушиной для интеллигенции Северной столицы, которая сама еще не так давно была отдушиной всей России.

...У подъезда Дома искусств им. Станиславского – одна афиша с перечислением десятка артистов московского Малого театра, сверхзаслуженных, орденосцев, другая – написана от руки сажеными буквами: «Игорь Ильинский».

Все знают Ильинского – босяка, жулика и проходимца по фильмам эпохи нэпа, знаменит Ильинский – Хлестаков, не имевший дублера, но мало кто знал Ильинского-чтеца.

Тоня так хлопала в ладоши – распухли, и велела Дмитрию целовать их после каждого «номера».

– Неудобно при всех, – ворчал, но целовал.

А Ильинский присвистывал, причмокивал, садился верхом на стул, как на козлы, дрожал всем телом и голосом: насмерть перепуганный чиновник из чеховского рассказа «Напугал».

Лучший комик России брал от публики все, что она могла дать: восторженное внимание, подражание почти раболепное, когда один знаменитый прищур глаза заставляет щуриться сотни глаз. Это не бокс и не борьба, вызывающие судорожные движения зрителей – тоже подражание – рефлекс физический, – но ток высокого творческого напряжения.

В самом разгаре сезона, когда премьеры балета «Кавказский пленник», оперы «В бурю», лермонтовского «Маскарада» и не сходящий со сцены «Отелло» (со знаменитым артистом Ваграмом Папазяном, вернувшимся из эмиграции), – были позади, а впереди приближалась экзаменационная сессия, Дмитрий понял, что он влюблен.

Любовь? Она приходила и уходила уже не раз. Попробуй, разберись, когда она была – или будет – настоящая? «Все минет, а любовь останется». Вот та и будет – любовь, что останется.

Пусть не сразу, с колебаниями, с сомнениями, с разлуками, похожими на «никогда», но уж если останется, то навсегда. Тоня? Но она же родная, девочка с желтыми косичками, а теперь – друг-приятель, говори о чем хочешь, всем делись, верь, как сестре. Но чтобы это была любовь – нет, ему не верилось. Ему казалось, что такая любовь похожа на повторение детской шалости – милой и далекой. И все же...

Они стали встречаться почти каждый день. Занятия были заброшены.

В институте устраивались встречи с известными писателями. Тоне нравились только писатели-старрики: «Спешу видеть, – пока живы». Видели Пришвина, Сергеева-Ценского, Шишкова, Соколова-Микитова. Генерал Игнатьев, автор интересных мемуаров «50 лет в строю», не понравился: вид у него был цветущий, говорил, как Тоне показалось, «чересчур по-русски». И совсем неприятно поразил Новиков-Прибой: вышел на сцену так браво, рассказывал о себе таким звонким, молодым голосом.

– Лучше бы пошли на другого, который в лектории выступает (имелся в виду Телешов), – упрекала она Дмитрия, – тот, наверно, куда дряхлее.

Бывали дни, когда у обоих не было денег. Тогда сидели дома у Тони, в генеральской квартире, играли с хозяином в карты («подкидной дурак») или в «балду». Кто помнит предвоенный Ленинград, эту уже уходящую эпоху, тот знает игру, которой студенты заразили весь город. Это были дни, когда весь город «балдел»: играли в трамваях, в учреждениях, на лекциях.

Генерал с генеральшей обычно «балдели», а Дмитрий и Тоня оставались «в дураках». Чтобы не очутиться в таком положении и на экзаменах, решено было взяться за ум – за чужой ум, обессмерченный в книгах.

У Дмитрия первым шел экзамен по русскому языку – самый страшный для всех студенческих народов, населяющих Россию (разумеется, и русских). Надо знать всего Пешковского (говорили: «Пешковский – Печковский», имея в виду знаменитого певца); всего Даля, не говоря уже о Шапиро. По поводу него ходило изречение Ильи Ильфа: «Все, что вы написали, пишете или собираетесь написать, давно уже написано Ольгой Шапиро, работницей Киевской синодальной типографии».

Настал такой день, когда Тоня не приехала на свидание. «Мы с вами, мистер, больше не знакомы, – написала она, – до конца сессии. Желаю удачи».

Удача была. На «попугаевом билетике» Дмитрию достались местоимения. Он перечислил их, и все, что о них было сказано знаменитейшими грамматиками, и процитировал – насыщенные местоимения – строки одного из самых любимых стихотворений Блока:

*Твое лицо, в его простой оправе,
Своей рукой убрал я со стола.*

Зубрили всей комнатой, вырывая друг у друга конспекты старшекурсников. Любили сидеть на подоконниках, в умывалке, в коридорах, на лестницах – везде, лишь бы не за столом надоевшей за зиму «конюшни». Но больше всего грелись на скупом еще солнышке у дебаркадеров старинного и единственного в городе грязного Обводного канала. Ему, по аналогии с Беломорско-Балтийским, студенты присвоили имя Сталина.

Но в самые напряженные дни сессии, посередине между Кратким курсом истории ВКП(б) и долгим курсом истории России, Дмитрий получил письмо: «Не стыдно ли забывать свою первую, чистую детскую любовь? Я уже сдала ухо и горло, остался нос. Если ты не придешь хоть на один день или сутки, то останешься с носом. А я, черт с ним, его провалю и буду читать вашего Гоголя. Ждем: город Пушкин, Пушкинская улица 34, и я».

Дмитрий, вытащил у храпящего Баса из-под головы конспекты, с радостью пошел «пёхом» на Витебский вокзал. Казалось, что экзаменационная сессия была экзаменом и для их любви.

С замирающим сердцем вышел с Царскосельского вокзала. Вот Пушкинский лицей и столетний парк с вечнозелеными аллеями и вечно первыми грачами. На Пушкинской улице быстро нашел «дом номер 34». Это был обычный для роскошных пригородов небольшой особняк с копыеносной оградой и голубыми «мавзолей-скими» елочками.

Встретила немецкая овчарка – молча, вежливо. Она была спокойная, вышколенная, выхоленная, как сам хозяин-генерал. Генерала не было. Казалось, никого не было дома. Пес улегся на паркете, а гость сел на диван. И уснул.

Проснулся от легкого и мимолетного, как касание ласточкиного крыла, поцелуя. Тоня склонилась над ним – радостная.

- Милый, как хорошо, что ты приехал.
- Прости, что уснул. Сама знаешь, сколько ночей не спал.
- А я загадала: если не приедет, тогда все.
- А если приедет?
- Тогда тоже все.

Почти так и было: почти все.

Они были одни. Даже кухарка и ее муж, «кухарь», инвалид финской кампании, были отпущены в Ленинград.

Пообедали кое-как. Яичница (все, что умела делать), соленые огурцы, водка.

Тоня была в городском русском сарафане – он идет только русским женщинам, – смело декольтированном, легко и плотно охватывающем широкие бедра. Походила скорее на московскую боярышню, чем на казачку. И все ей шло: и ленивая походка, и медлительные, с поволокой, глаза, и манера говорить небрежно, как попало спрягая и распрягая глаголы и вообще всякие слова. Они неслись лихими тройками или цугом, а то и целым табуном.

– Вот, если устал, полежал бы, почитал бы что-нибудь. Вслух. А я слушаю.

У генерала была небольшая библиотека, но нашлась в ней замечательная книга, с любовью изданная, – «Избранные рассказы» Александра Грина.

Запершись в генеральской спальне, они читали до ночи.

– Ах, как он любил, – шептала, почти засыпая, Тоня, – через столько лет, столько мук и так далее, вернуться, встретиться с ней. Ведь мог бы стать идиотом, живым трупом, зверем, кем хочешь? А он – пришел. Здоровый, чистый, благородный. Мог бы ты так любить? Любишь ли ты меня?

– Мне кажется, что ты мне снишься, – сказал он, – ты, эти ковры, сабли на стенах и прочие олени рога. Главное – рога. И эта книга – аромат далеких стран... Чистой, далекой и такой близкой... Можно тебя поцеловать?

– Потом.

– ... любви, любви сновидений. И вот я вижу: на широкой улице, на знакомой улице стоит девочка, окутанная солнцем, и тарачит зеленые глазки, спрашивает меня...

– Да, и теперь снова требую ответа. И прошу не думать при этом о своей матери.

– Хорошо. Ни о матери, ни о родине-матери. Хотел бы я, чтобы ответом моим была вся моя жизнь.

Они целовались долго. Пес сначала вздрагивал, потом ему надоело и он уснул.

– Меня многие целовали, – призналась она. – Не ты первый, но ты будешь последний. Хочешь?

Уткнувшись носом в подушку, он прошептал:

- Я хочу, чтобы ты была со мной всю ночь.
- Я же и так с тобой. А, хорошо. Я понимаю. Я останусь. Но даешь честное слово?
- Ты о чем это?
- Все о том же: о чистой любви.
- Ладно.

– Подвинься же, – попросила она, и они рассмеялись: будто это было не в первый раз. Прижимаясь, она шептала:

– Мне кажется, что всю жизнь тебя люблю. Ведь когда мы уезжали, я спрашивала: а его, Митьку, не раскулачили? Они не поедут с нами? Мне было твердо обещано, уже здесь, что тебя тоже раскулачат и что ты приедешь. И вот ты приехал. Ты пришел снова – в мою жизнь. Только не целуй меня так шибко. Я не люблю так. Я хочу – нежно, долго, тихонько. Я не страстная, наверное.

Потом она встала, чтобы выгнать овчарку стеречь дом. И через минуту в двери соседней спальни щелкнул замок. Дмитрий остался один.

Под утро радостно взвизгнула собака во дворе. Неожиданно приехал генерал. Дмитрию пришлось переселиться на диван.

– Опровержение ТАСС: некоторые иностранные агентства лгут, что немцы сосредотачивают свои войска на нашей границе, – сообщил генерал. – Раз ТАСС опровергает, значит, быть посему.

– Вы думаете – война? – спросил Дмитрий.

– Да.

– А мне наплевать, – сказала Тоня, – на это у нас есть генералы, всегда приезжающие невовремя.

Генерал качал головой, поджав губы. Он не мог понять, почему не верят, не хотят верить тревожным сообщениям, поступающим со всех сторон. Никто, кроме немцев, не хочет войны. Военные атташе Америки, Англии, Франции считают своим долгом предупредить Сталина. Свои агенты не зевают тоже. Но Сталин никому не верит. Он подсчитал силы. Только сумасшедшие могут решиться напасть на Россию. О сокрушительной силе неожиданного удара он не подумал. Как Гитлер не учел, что этот удар не будет длиться вечно.

Оба ошиблись. Но проиграл только один. А пострадал больше всех русский народ. Немецкий отделался легко.

4. Лебединая песня фонтанов

С Финского залива дул теплый ветер. Каждой весной, вместе с птицами, прилетает этот свободный ветер – дух Европы. Нева смело ломала ледяные устои зимы и последние студеные ее куски быстро сплавляла в Европу: получай, мол, русский сахар.

Студенты, встречаясь, поздравляли друг друга:

– Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Спешите видеть осколки разбитого вдребзги.

– Сами вы осколки, – ворчали старики на набережной, но на них не обращали внимания. С боем брали первые катера, за два рубля катающие по Неве от Зимнего на Елагин остров.

Какой-нибудь крейсер медленно входил в Неву, ошвартовывался у набережной Лейтенанта Шмидта – и всюду мелькали голубые ленточки матросок.

Скоро притащится и старуха «Аврора», станет на своем историческом месте, откуда она из жерла носовой пушчонки возвестила «новую зарю человечества». Теперь это жалкий крейсерок, объект экскурсий, а больше насмешек даже ленинградских пионеров, тонко разбирающихся в классификации современных судов. Устарела «Аврора», поблекли краски, когда-то свежие и яркие, «зари человечества», устарели вожди революции, а многие умерли – если не сами, так с помощью своих товарищей.

«Аврора» – мир уходящий. Она давно снята с вооружения. «Снимут» ее скоро вообще и с движения; последние из могикан самой могущественной партии в мире уступят место своим преемникам, но не таким уже, как они.

... С приходом «Авроры» начинается подготовка к 1 мая. Для России и русской природы это, прежде всего, праздник весны. На международную пролетарскую солидарность наплевать: ни за границ, ни их рабочих, ни их какую-то борьбу Россия не знает и не видит.

Праздник прошел весело. Солнце отстаивалось в термометрах, предвещая доброе лето. Снова весь молодой Ленинград был в Петергофе – на открытии фонтанов.

По сигналу фанфар – разом, как цирковые белые лошади, вздыбились фонтаны к небу – по всей аллее, уходящей к морю; «Самсон» выплеснул свою струю, переплюнувшую Версаль. Сверкающий столб, как смерч, встал из пасти льва, над могучими плечами Самсона, отполированными великими мастерами, водой и временем.

В 9 часов смолкли джазы и оркестры, звеневшие во всех углах парка. На нижней площадке, среди фонтанов Большого каскада, начался балет «Лебединое озеро». Мариинский академический театр перед отъездом на гастроли выступал в полном составе своей балетной труппы со знаменитой прима-балериной.

В перерывах, когда утихал оркестр, в воздухе дрожал тонкий, прозрачный звон фонтанных струй, мягко падающих на мраморные плиты. Переливаясь в радуге прожекторов, они звенели как струны. Звенели и пели...

И кто бы мог знать, что это был не только балет «Лебединое озеро», но и лебединая песня петергофских фонтанов. И знал ли Самсон, что вскоре его сильное бронзовое тело враги распилят на трофейные куски и увезут к себе в Берлин?

И знали ли эти сотни молодых людей, веселившихся на медяки, что это их последний праздник, что война рассечет на части не только Самсона, но и прекрасное тело еще более могучего богатыря – России, что она исковеркает и их молодые и крепкие тела?

Кто бы мог знать... Точно – никто, конечно, – ни времена, ни сроки. Но предчувствовали войну не только слабонервные. Она уже плескалась на Западе – правда, не совсем похожая на войну – без русской крови. Война начала проигрывать от того, что в ней не участвовала Россия. Она топталась на месте.

Россия молчала. От России-сфинкса почти ничего не осталось. Она просто не знала, что сказать. Она не была готова к войне. Вожди, больше для самоуспокоения, говорили: «Политика нашей партии обеспечивает нам мирную жизнь в то время, как уже почти вся Европа узнала бомбардировку с воздуха. Мы живем спокойной жизнью и с каждым днем ее улучшаем».

Но ни в спокойную жизнь, ни в ее улучшение никто не верил.

5. Хождение в народ

Нервное напряжение экзаменационной сессии всегда разряжалось бурно, но старожилы не помнили более безобразных дней: за неделю до отъезда на практику вся «общежитка» перепилась. Началось тихо и культурно, с цитатами из классиков мировой литературы, потом пошло «очко». Целый день с утра кто-то проигрывал, кто-то выигрывал, но к вечеру неизменно все были пьяны. Случилась драка, тоже какая-то необычная, в стиле этих дней, наполненных ожиданием чего-то. В ход была пущена государственная мебель и даже матрацы. Один матрац, тюремно-полосатый, выпал в окно (со второго этажа). И надо же ему было придавить не простого смертного, а милиционера, которого жалели: одни – что едва не умер, другие – что остался жив. Протокол был подписан и разорван, пострадавший выпил мировую.

Наконец поехали – во все углы страны, краеугольные и медвежьи. «Этот содом не перед добром», – думал Дмитрий, покидая Ленинград. Он избрал редакцию газеты одного из промышленных городов области, чтобы быть поближе к «предмету». Тоня осталась дома, она не могла сама выбирать место практики, ее назначили в городской госпиталь. Обещала: «Один раз как-нибудь заеду, приеду на день-два», и сразу же – уехала обратно.

Сотрудники редакции были, как все «газетчики» во всем мире, веселые, «не любили» выпить, «зверски» играли на бильярде и волочились за всеми, особенно приезжими из Ленинграда, дамами.

Почти одновременно с Дмитрием в редакцию приехал почетный гость, разъездной корреспондент «Ленинградской правды» Михаил Жилев, знакомый не только по редким и всегда интересным очеркам в центральной прессе, но и по бильярду в Доме журналиста (на Фонтанке). Бывал он и в институте, сам когда-то его окончил.

По-советски солидный и по-русски добродушный, последней молодости, когда округлившийся живот начинает перевешивать чашу жизни книзу. Но Жилев потуже перетягивался широким командирским ремнем, мотался из конца в конец страны, много писал, еще больше читал, мечтал, не сдавался.

Военный покрой штатского платья или полувоенная форма, введенные в моду Сталиным, к тому времени им же, наверное, были запрещены или попросту всем надоели. Но Жилев по-прежнему щеголял хромовыми сапогами со скрипом.

– Я и войну люблю, – говаривал он не раз, – и на будущую Мировую возлагаю большие надежды.

Какие – об этом он помалкивал, но хитровато шурил голубые ярославские глаза, как будто через их шелки ему было виднее.

Дмитрий встретился с ним как старый знакомый, как всегда встречаются ленинградцы, где бы они ни были; рассказал о своих муках в отделе писем. Попадают такие каракули рабочих и крестьян, что черт в них ногу сломит. Бывают и послания, похожие на косвенный донос. Некоторые редактор, поколебавшись, бросает в корзинку, другие – без колебаний – относит «куда следует».

– Именно, куда не следует, черт возьми, – ворчал Жилев, – но это уже не наше дело. Поговорим о девочках. Как поживает ваша старшая машинистка? Бросьте вы все это и идите в народ! Вспомните народников. Правда, их хождение в народ привело к нашему хождению по мукам... О чем это я? Да, я люблю ваш институт. Что за великаны – наши стариканы профессора! Особенно Аралов. Как он любит смаковать некоторые места в «Великом Зерцале», как читал эти, как мы называли, «Черти-Миней». Он все же скажет новое слово о «Слове о полку Игореве» – двадцать лет пишет. И ребята у вас хорошие. Правда, евреев больше половины. Это в процентном отношении – нехорошо. В издательства, в газеты, в театр – так и прет это племя знакомое. О чем это? Да, не сыграть ли нам, по старой памяти, пирамидку?

В гостинице был единственный на весь город настоящий большой бильярдный стол. Больше часа не поиграешь – всегда очередь. Несколько местных профессионалов, зарабатывающих себе пропитание «облапошиванием» приезжих, только взглянув на то, как гости держат кий, отошли в сторону. Жилов играл мастерски. Приседал, «тянул на себя шара» и сам тянулся, кривлялся, охал и ахал; каждый раз, когда прицеливался «срезать» шара в среднюю лузу, говорил по-украински:

– Оце ж я його злызгну, тонэсенько, тонэсенько, – и «слызгивал» без промаха. Хвастался:
– Я мастер по средним.

Через несколько дней предложил Дмитрию сходить с ним на керамический завод, один из самых больших в стране.

В пекарне пекут хлеб «кирпичиком», а на заводе «Красный керамик» в огромных печах, почти доменного размаха, пеклись кирпичи, как хлебы. Мощные прессы выдавливали чудовищные формы каких-то станин, цилиндров, пушечных жерл.

Завод не успел бы обойти и за весь день, да и все равно – что бы поняли? Жилов, по профессиональной привычке, зашел в кабинет парторга. Тот все знает. Но и всего боится. Особенно корреспондентов. Для него они хуже НКВД.

Мимо Дмитрия, вздрагивающего от периодических грохотов и тресков, женщины катили вагонетки с глиной по узким рельсам. Рельсы были проложены по всему заводу – похоже было на большой железнодорожный узел в миниатюре. Иногда на стыках рельс вагонетки сходу опрокидывались, и женщины поднимали их. Они сбегались со всех сторон; одни как-то наваливались на вагонетку спинами, упираясь ногами в землю, другие налегали грудью, третьи лезли под колеса – и, глядишь, все вставало на свое место, куда-то катилось, взад-вперед, целый день. Сотни людей таскали мешки с чем-то, тянули волоком трупобразные болванки – кричали, ругались, сбивались с ног. Это был один из подсобных цехов, и люди в нем назывались подсобными рабочими. Не будь их, не жили, не горели бы огнем творчества другие цехи высокой техники, цехи прессов и печей, цехи-диктаторы, сжигающие ручной труд людей-рабов.

Шилов недолго был у парторга:

– О чем говорить с этим чинушей и дураком? Все хорошо, но вот на розово-кирпичном фоне есть темное пятно: формовочный цех, где начальником товарищ такой-то, не выполняет месячного задания. Давно, давно пора... Ударить по рукам... и т. д.

Обедали вместе. Ресторан, знакомый Шилову по его прежним наездам, аборигены называли «Адис-Абеба – садись обедать» – африканская жара устойчиво держалась в нем зимой и летом, и мухи спокойно жили, плодились и кусали граждан круглый год, побивая все рекорды мушиной долговечности. Заведующему столовой не раз предлагали пометить крыльшки какой-нибудь нахальной мухе, а через года два сообща изловить ее и отправить в подарок Академии наук или Негусу в Лондон. Пусть это будет для него утешением в эмиграции. Ресторан был обычной жертвой фельетонистов. Но фельетоны писались, а мухи все кусались, потому что – не разваливать же печь? А все дело в ней: ее огромный дымоход целой стеной выходил в столовый зал.

Но повар был на высоте, меню недорогое, и публика, скрепя сердце, потела и ела.

В городе за годы индустриализации значительно выросла «классовая прослойка» холостяков, да еще пополнилась пришлым элементом – людей без роду, без племени: город официально считался 101-м километром. Этой дикой средневековой чертой отчуждения отгораживались новоявленные отцы северной столицы от «неблагонадежных».

Слава Богу, в нашем веке люди еще находят пути от сердца к сердцу, любят поговорить по душам, по-дружески выпить.

Дмитрий по неопытности ничего не признавал, кроме водки, а выдавший виды Шилов только водку и знал. Поэтому обед мог затянуться до ужина, если бы Шилов не решил вдруг

ехать домой, в Ленинград. Багаж его был всегда с ним – огромный портфель рыжей и потрескавшейся кожи.

– Люблю этот город, – говорил он по дороге на вокзал, – не то, что Новгород и Псков: там слишком пахнет ладаном.

Они проходили мимо старинного монастыря, окруженного колючей проволокой, с наблюдательной вышкой посреди двора.

– А здесь чем пахнет? – спросил Дмитрий.

– Чертом с ладаном, вот чем. Все-таки это безобразия, из монастыря, тюрьмы духовно-добровольной, делать тюрьму настоящую. Да еще здесь, посреди города – родины самых красивых в России женщин.

– Что-то я этого не заметил.

– Напрасно. Я, старый развратник, утверждаю это. Я любитель красивых женщин: отдыхает взор. И родины большой любитель и знаток. Только она меня не баловала.

– Как? Почему?

– Эх, брат-демократ, долго рассказывать. А вкратце – в гражданскую войну, безусым энтузиастом, командуя отборным (в смысле сброда) батальоном, я взял несколько каких-то полунаселенных пунктов, одержал несколько небольших – над врагом – и величайших – над своими солдатами – побед. Два раза я попадал под расстрел к белым, а один раз, и это стоило мне седых волос, к красным.

– А к своим-то как?

– По ошибке. А думаешь, эти, что здесь сидят, в монастыре с новым советским уставом, почему попали? Тоже по ошибке, а еще по русской дурости и хамству (с обеих сторон), плюс широкий размах и минус американская деловитость. Это я еще осторожно выражаюсь. Мне и самому не хочется ни говорить, ни думать хуже. Ведь я – настоящий коммунист, старики-карьеристы и молодые сосунки мне не ровня.

– Я слышал, что вы лично знакомы со Сталиным и имеете орден Красного знамени один из первых – самый почетный, чеканки 21-го года. Правда это?

– Правда. Но со Сталиным у меня не вышло. Больше не приглашают. Опоздал однажды на прием. Кстати, прогулы и опоздания – что это? Тоже наше бескультурье и свинство. А закон, отправляющий за это в тюрьму? Это уже совсем нелепость, дичь, варварство, преступление. В Европе смеются над ними. Но там Францы и Гансы серьезнее относятся к жизни и опаздывать или прогуливать не любят. Я знаю, что там слаще можно прожить жизнь и спокойнее, но от сластей выпадают зубы. Если они у Франции и были, так все равно их немцы выбили и теперь распоряжаются всей Европой. Старушка заплатила за кусочки сахара кусками земли, попорченной и отгорженной... Вот кто нам враг номер один – Германия.

– Мы же в дружбе с ней?

– Ха, мальчик! Это политика, то есть грязное и темное дело, а не дружба. Наши-то бы не прочь, да союз непрочен. Раньше с Германией с одной, ну с Италией – справиться можно было легко, но сейчас под ружьем пол-Европы, огромные богатства Франции в придачу. Опыт войны у гитлеровских молодчиков и их боевой задор, окрыленность, вера в непобедимость – тоже не в нашу пользу. А за спиной притаился «япошка». Манера Гитлера – внезапность удара. «Раз – и кvas». Как раз то, чего Россия не любит и сама никогда не делала. Недавно весь зал лектория аплодировал известному военному обозревателю только за то, что он позволил себе пройтись насчет немецких сводок: пространны, мол, и хвастливы, английские же – скромны и скупы. Правда, похвастать им пока нечем. Эх, хотел бы я, чтобы немцы сунулись к нам – в деревню, в глушь, куда-нибудь под Саратов...

– Неужели мы пустили бы их так далеко?

– Поневолепустишь. Но – умнее будем. Пусть начинается. Так жить надоело. Все отдаем для будущего, вернее, для будущей войны. А нам-то что останется? Шиш с маком да выпипи-

вон изредка. А все мы материалисты – живем один раз и – терпим. Раньше люди хоть на тот свет надеялись, а мы и этого не имеем. Душно! Война нужна, чтобы разрядить эту атмосферу. Только после войны, после большой победы мы заживем как люди. Страна наша велика и обильна, и порядок в ней есть, только он порядочно надоел всем. Мы еще повоюем. Мы еще поживем!

Жилов раскраснелся, глаза его блистали, и он еще хотел выпить. Но до поезда оставались считанные минуты.

– Теперь мне не хочется ехать, – бормотал он, – что за черт?

Но, скрепя сердце, скрипя новыми сапогами, не без помощи Дмитрия, сел в подошедший поезд.

– Помните мой совет, – крикнул, когда поезд тронул, – идите в народ. Наш большой народ – большой ребенок. Вы его не знаете. Впрочем, кто же его знает? – и он махнул рукой, не то прощаясь, не то с досады.

* * *

И правда, знаем ли мы свой народ?

Писатели, знающие его досконально, умеют писать только «во первых строках письма» с поклонами от полдеревни. Те же из них, кому удавалось выйти в люди, – Кольцов, Никитин, Трефолов – эти соловьи залетные из курского леса в английский парк, – отрываясь от народа, пели монотонно, быстро спеваясь, если не спивались.

В народоведении они недалеко ушли от наших классиков, не знавших народа, но умевших к нему прилепляться душой.

Не знают народа, за редкими исключениями (Горький, Пришвин, Шолохов, В. Иванов), и советские писатели, почти все бывшие «попутчики» из буржуазии.

Один Есенин стоит в стороне ото всех и ближе всех к народу. Когда-нибудь ему все-таки поставят памятник в Рязани.

Пройдут годы – и не так уж много, – и независимо от власти, мира или войны – народа, этого простого, малограмотного, мудрого и мудреного расейского мужика, думающего, «про рожь, а больше про кобыл», не станет. Все будут шибко грамотные, и композитор Чайковский придет на конюшню, как писала одна районная газетка. Тогда, если уже не сейчас, народные писатели не будут нужны.

* * *

Неделями пропадал Дмитрий в деревнях, за 30–50 километров от города, передавая по телефону в редакцию сводки о ходе посевной кампании. Дожди, пуды налипшей на сапоги грязи, ночевки и степи, долгие часы в седле на добродушной кляче – все это нравилось. Иногда определяли «на постой» к кому-нибудь из «зажиточных», или у кого изба просторней. Гостя потчевали чем могли.

Вековой уклад русской жизни, как вязка бревен, еще оставался: с белобрысыми ребятишками на полатах, с тараканами и сверчками запечными, друзьями сердечными, с прялками и скалками, с темным ликом Христа в углу или любимейшими Божьими Матерями – Иверской и Казанской.

Но о политике поговорить любили, были неплохо осведомлены о событиях в мире и больше всего интересовались «немцем».

Попал Дмитрий и на большой праздник в одном селе, у самого председателя колхоза. Начался праздник переборами тальянки, а под конец перебрали всех святых. Поссорились из за трудодней:

- Он же с ней, стервью, спит в сене. Вот и начисляет лишнее, – кричала какая-то гостья.
- А тебе какая дела? – урезонивали ее.

По случаю ссоры праздник перенесли и на другой день. Приехавшая кинопередвижка никого не интересовала и передвинулась, захватив Дмитрия, в другое село. Но и там была та же картина, только с еще большим размахом: все село было пьяно, вперемежку с гостями – председателями, бригадирами и даже парторгами из других сел. Если бы это было в конце сева – понятно, но сев был в самом разгаре.

- Ничего не поделаешь. Предстольный праздник, – объяснил счетовод.
- Престольный? – удивился Дмитрий.

– Да, религиозный вроде. Церкви у них давно нет, да и была-то одна на пять-шесть деревень, вот они день ее открытия вроде и празднуют, по памяти, значит.

- И как же не влетает за это?

– Нет, брат, шалишь: круговая порука. Начальство-то и само пьет. Подите, и вас напоят, – и вам будет нечем крыть.

- Да я что, я с удовольствием...

В третьем селе не миновала их чаша колхозного веселья.

- Кино? Ня надо кины, отдохните, будьте гостями, выпейте, – пригласил их председатель. Не отказались. Вслед за ними ввалился огромный детина лет двадцати двух.

– Во-во, поди-к сюда, – словно обрадовался председатель, старичок тонкоголосый, маленький, этакий сивый меринок.

- Ну, иду, а чаво? – детина бесстрашно придвинулся.

- Полюбуйтесь на него, стервеца! Будешь работать-та аль нет? Говори.

Парень молчал.

– Граждане, обратите вашу внимание: этого стервеца мы взяли с детдому, вспоили и, можно сказать, вскормили. И что жа? Послали его на курсы трактористов. И что жа? Вывчился, а к нам не возвернулся. В мэтэса остался. Хорошо. А его и направили к нам на пахоту. И что жа? В хорошую погоду пьет, в плохую – спит. А у нас план срывается. Вот стерва. Вот изменщик! Чаво с ним исделать? А еще комсомол.

Детина оживился:

– Был, да весь вышел. Механически вышел. А вам я не подчиняюсь. Директору мэтэса я принесу справку от доктора. А вам нет. Я теперича – рабочий класс, – и он гордо посмотрел на всех. – А работать по такой грязи – только пережог горячего получается. А вы только свой план знаете.

Никто не нашел ему ничего ответить. Только председатель тряхнул бороденкой, пьяно взвизгнул еще раз:

- Изменщик, стервец!

Наконец, добрался наш корреспондент до знаменитого суворовского села Кончанского. Гостиница, ресторан, библиотека, полная средняя школа. Заведующая, недавняя студентка-москвичка, одна из тысяч комсомольцев-идеалистов, новых ходоков в народ, отдающих свои молодые жизни русскому захолустью, с грустью рассказывала:

– Бежит молодежь из деревни. При мне здесь был в этом году первый выпуск десятиклассников. О мальчиках не говорю. Они идут в армию. Но девушки – ведь мало кто из них попадает в вуз, но и здесь ни одна не останется. Хоть в счетоводы, в машинистки, в телефонистки, в уборщицы, но – в город...

Она оставила Дмитрия спать у себя, на кухне. Проснулся рано, отчего – не сразу понял. Снова закрыл глаза – и услышал: чистая и нежная мелодия, словно знакомая с детства, реяла над головой. Выглянул в окно – и рассмеялся: оборванный колхозный ангелочек – мальчишка лет двенадцати, золотоголовый и голубоглазый, сидя на скамейке под окном, старательно дул в рожок.

Недаром эта мелодия кажется всем знакомой, даже тем, кто никогда не жил в деревне. Рожок пастуха – один из первых музыкальных инструментов человека, как свирель. Дмитрий вспомнил Блока:

*Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету,
И ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну.*

И яблони, кончанские яблони, осыпали розоватые лепестки на землю, когда-то носившую сухонького и чудаковатого старика, – с любовью и страхом: гул его походов в чужие земли сейсмически сотрясал и эту, знаменитую только яблонями.

И утренняя звезда еще зеленела в светлеющем небе. И рожок пастушонка вытягивал что-то призывное.

А в распахнутом настежь окне милая русская женщина улыбнулась печально, как родному.

– До свиданья, – крикнул Дмитрий, шагая в степь.

И пожелал ей в душе: «Пусть не вся твоя жизнь пройдет в глуши, с народом и все-таки в одиночестве». Через полчаса был на почте.

В чахоточной трубке телефона, похожего на шарманку, нарочито измененный до писка женский голос спросил:

– Это вы, товарищ Алкаев? Я хотела бы немедленно и официально поговорить – посмотреть, – и тому подобное.

– Тоня, это ты? Знаешь, я сегодня слышал рожок...

– Что ты плетешь? Не пьян? Чем занимаешься? Хождением в народ? Хождением или похождениями?

На центральной разъединили. Он и так долго занимал линию со своим севом зерновых культур.

Не стал ждать случайной машины, попросил лошадей. «Вот тебе и пастораль», – думал, подпрыгивая на старомодном, чуть не суворовских времен, тарантасе. И поймал себя на мысли: глубина вспашки, боронование, пережог горячего, «предстольный» праздник, изменщик, учительница. Не мысли – одна мысль: о своем народе. Вот он был перед твоими глазами – хорош ли, плох ли, но – свой.

«Не знаю, как насчет культуры вообще, но с зерновыми культурами все в порядке, – думал он, – сев закончен».

Лошади неслись, расхлопывая грязь, ездовой пел свою ямщицкую песню. День выдался на редкость ясный и теплый, после почти месяца противной северной весны, больше похожей на осень.

6. Мир идет на убыль

Здравствуй лето, здравствуй, солнцеликое! Привет тебе, самое счастливое мое время в году! Зима унижает человека, заставляя его тепло одеваться и бояться простуды, осень хороша только вначале, паутинками бабьего лета связанная с еще не совсем ушедшим летом; красавица-весна – даже она, веселая революция в русской природе, – только надежда на то, что за нею придет лето солнцеликое.

Они лежат на пляже, загорают и отдыхают после только что совершенного подвига: широкая русская река переплыта обоими, рука в руку, простым русским стилем – саженками.

– Почему ты приехала в этой дурацкой шляпке? Стыдилась бы.

– Это а-ля «маленькая мама» – дурацкая? Тогда сам ты дурак. А вообще – чтобы удивить ваших провинциалок. Они всех нас, ленинградских, ненавидят, я знаю.

– А что же ты думала. Посмотри вон на ту девушку. Сколько ей лет?

– Девушку? Да это же баба!

– Вот ты и ошибаешься. Она моложе тебя. В двадцать лет – хриплый голос, тяжелая походка, обветренная кожа и морщины на лбу. Попробуй-ка с утра до ночи поработать в степи.

– Ты что, недоволен, что я приехала? В госпитале поругалась, и с тобой придется. Так назло не уеду. Я, кажется, на свой счет живу, отдыхаю в этом деревенском городе, в своем номере гостиницы. И не буду больше с тобой ездить по всяким колхозам имени Сталина или того же Забубённого.

Он молчал. Она, успокоившись, начала шарить в карманах его брюк.

– И чтобы никаких секретов. Подумаешь, какие могут быть тайны? Плевать на твои тайны.

Найдено было письмо от Саши Половского:

«Скучно, Митя. Может быть – без тебя. Издали ты мне больше нравишься. Жил я все время неважно. Пожизненную пенсию, которую мамаша получает за отца, нельзя назвать и полужизненной. Сеяли на огороде редиску, поледили, поливали, вырывали и продавали, но не пропивали. И мне совсем недавно (а то все на редиске сидели) предложили работать в русской минской газете. А теперь наш директор прислал письмо, чтобы я в июле ехал сдавать какие то экзамены. Он меня, оказывается, оставил в институте заочником. Так я в середине июня уже буду в Ленинграде. А пока тощица и духота. Маленькая, серенькая радость: прибился ко мне котенок. Прямо на улице – имени Сталина, конечно. Я ему (не Сталину) написал стихи:

*Серый маленький котенок,
Друг моих ночей бессонных,
Яне сплю – и ты не спишь,
И перо шуршит как мшь.
Не оно ль тревожит уши
Заостренные твои?..
Наши серенькие души
Породнились в эти дни.
В эти дни и в эти ночи,
Что томят меня тоской,
А перо – скрипит и строчит
Неразборчивой строкой.
Ты крадешься тише, тише,
Мягко прыгаешь кругом...
Все равно ты не услышишь,*

*Как порой скребутся мьши
Больно на сердце моем.*

Оцени, дружище. Я и Басу эти стихи послал. Если бы не писал стихов и вообще не думал о всяких глупостях – нечего было бы делать. Какое-то странное нудное затишье. Душное время. Передует оно нас всех, как котят.

Кланяемся тебе, Саша и Ко (тик). Помнишь, у Некрасова:

*Душно без счастья и воли;
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли,
Чаша с краями полна...*

До свиданья, надеюсь, скорого. Саша».

– Мне тоже душно, – сказала Тоня помолчав. – И я забыла тебе рассказать, что в Ленинграде по вечерам бывает масса пьяных. К чему бы это?

Все дышало миром и знойным, мягким, тяжеловесным покоем. В голубой вышине неподвижно, как белые копчики, распластали крылья перистые облака.

– В голубой вышине самолеты летят. И куда они летят – ничего не говорят, – напевала Тоня новую ура-военную песенку, перевирая ее на мирно шуточный лад: собирала цветы – ромашки и еще какие-то, чахлые. Природа здесь в начале июня бедна.

Вдали, над крутым поворотом реки, открывалась большая, сложная, окутанная не романтической дымкой, а дымом, пылью и копотью, панорама какого-то грандиозного засекреченного строительства. Места глухие. Леса кругом. Ничья вражеская нога, даже татарская, здесь никогда не была. А на стройке этой не была еще нога ни одного «вражеского» корреспондента. Издали было видно, как там копошились люди – строительные муравьи – заключенные.

По реке, вниз по течению, в сторону стройки, плыли плоты, связанные руками – сухожилиями! – тех, кто не знал теперь ни мира, ни голубого покоя, ни счастья солнечных дней, ни радости любви. Недалеко от города, вверх по течению реки, обширные лесоразработки тоже обнесены проволокой. Плоты из одного проволочного ограждения попадали в другое.

Когда один из плотов, широких и устойчивых, подошел близко к берегу, Дмитрий с разбега нырнул под него. Плот был широк – 3–4 сажени, но и не такие переныривают русские дети, выросшие на реках, и Дмитрию было не в первый раз. Не в первый раз, но чуть было не в последний. Когда он хотел вынырнуть, голова больно ударилась о бревно. Снова рванулся вперед, задевая спиной о шершавую кору. И снова потолок из бревен. «Этак я пересчитаю их все своими боками», – успел только подумать он и от нового удара затылком потерял сознание – на секунду-две, решающие жизнь. Но тело, в последнем слепом напряжении еще не ослабевших мускулов, снова рванулось вперед и вверх. В следующую секунду он уже хватал в рот первый, превращающий кровь в огонь, кусок воздуха, осязаемый во рту, как кусок хлеба.

С берега, оскальзываясь на бревнах, бежала Тоня. Как заправский плотовщик, она села на плот, опустила обе широко расставленные ноги в воду и одним сильным движением вытащила его на плот, в свои объятия.

Потом он часто вспоминал: это были самые сладкие объятия в его жизни. И самые «солидные».

– Плот – комплот – оплот – жизни – любви, – бормотал он, силясь улыбнуться синими губами.

– Разве так ныряют... – и эхо звонкой пощечины прокатилось по реке. – Показала бы я тебе, да теперь сама боюсь, – сказала Тоня и заплакала. Они сидели на берегу до сумерек. Солнце опускалось медленно, не как на юге. Тучи, или темнеющие облака, облизывали его,

как леденец, прежде чем проглотить совсем. Ласка первого летнего тепла уходила с солнцем. Тонко позванивала тишина в ушах. Что-то убывало в природе, в мире, как убывает день или вода в реке.

Может быть, это Мир шел на убыль. Она целовала его горячо, чтобы синие губы отошли. Он все еще не мог говорить. Зато она:

– Ведь я взаправдешно люблю тебя. Только мне не нравилось, что с самого детства. Слащаво как-то получалось. И генерал смеялся: это, говорит, только в сказках так бывает, да у Чарской. Я и сама пробовала ее читать – и бросила. А сестра – любит. Значит, не те времена. Тот мир ушел от нас.

– Уйдет и этот, – сказал, наконец, он. – Все может быть. Уплывет завтра плот, под которым я чуть не погиб без всякой войны. Пошатнется какойнибудь оплот... чего-нибудь.

– Ну, все это пустяки, – перебила она, – а теперь я решила: все равно – любовь. Хотя бы с детства. Или с до-революции. А ты люби – хоть с каменного века... Но почему мне так грустно, скажи?..

– Потому что грусть, эта русская трехэтажная грусть-тоска-печаль – интеллигентские попутчики революции-любви! Отставить! – как говорит один мой знакомый, военный, твой родственник. Кстати, мы ему докажем, что сказки еще живут и в нашем мире, мире уходящем не знаю куда, может быть, к черту.

– Замолчи, дельфин. Ты меня так напугал сегодня! Даже боюсь одна спать. Если хочешь, останься у меня. Разумеется, на прежних началах-условиях, как в Пушкине. Во имя Пушкина. Во имя чистой любви, начинающей тебе надоедать со мной вместе. Впрочем, мне пора уже уезжать.

«Она смеется надо мной», – подумал он, и ответил с обидой.

– Тогда пусть будет все, как в Пушкине.

– Ах, так! Хорошо. Впрочем, ты сейчас новорожденный. Иди и спи один...

Домой они шли белой ночью, не такой, как в Северной Пальмире, в Северном Полмире, ее здесь не украшают дворцы, и она не украшает их, но есть холмы, старенький городок, обли-тый ее молочным светом, рощи и цветы на лугах.

Кажется, это была первая в этом году белая ночь. Она проплыла над миром белой лебе-дью, шурша облаками.

Тупая боль в затылке долго не давала Дмитрию спать. Не выходило из головы:

Буря бы грянула, что ли —

Чаша с краями полна...

7. Буря грянула

*Усталый, голодный военный
Ты скорчен в предсмертном броске,
И бьется затравленной веной
Нева у тебя на виске!*

Иван Елагин

– Говорит Москва, говорит Москва... – Ква, ква, – слышится во сне; мелькает финская легенда о сотворении мира – Москвы; Мосок и Ква. Голос диктора, очень взволнованный и торжественный, настойчиво и властно врывается в сознание...

– ...минут, слушайте выступление товарища Молотова.

– Что-то будет, – подумал Дмитрий, вставая. – Это уже не какая-нибудь сессия и не съезд, а протягивание братской руки помощи, или новый процесс вождят-изменников, или, – он выглянул в окно: на площади около репродуктора, уже установленного на балконе Горсовета, собралась толпа, – или настоящая, большая война.

На стук в дверь Тоня не отвечала. Дверь не была заперта. Он вошел. На полу, сдвнутая ветром, лежала записка. Не надо было наклоняться и брать ее в руки, чтобы прочесть слова, крупные, как большое несчастье: «Прощай, дельфин. Ныряй без меня. Чем ты меня обидел и как – я пока не поняла. Разберусь потом. Сейчас некогда. Я уезжаю».

Был ли это каприз, или вчерашнее вещее чувство идущего на убыль мира, как уходящая волна, захлестнуло с собой и Тоню?

– Это все, – сказал он – и, даже не подобрав с пола эти крупные, набухшие печалью, разбросанные как попало буквы, вышел – на площадь, в толпу, в это уже недолгое ожидание чего-то.

– Это все, – повторял он. Почти так оно и было: почти все.

Черная труба с балкона хрипела, кашляла и трещала, словно волнуясь, готовясь к тому, чтобы через несколько минут извергнуть гром среди ясного неба.

Вчера сводка погоды точно предсказывала ясное небо надо всей страной, а сегодня уже военные сводки принесли первые точные известия о поражениях на фронте и замутившемся от бомбардировки небе над Киевом, Одессой, Гомелем...

Какую-то, с кем-то – войну ждали. И все же она была ударом не только грома среди ясного неба, но и молнии, расщепляющей дуб-Россию.

Речь Молотова поражала своей запутанной откровенностью. Советские вожди, привыкшие тщательно и заблаговременно готовить свои речи и даже короткие выступления, зная, какое огромное значение придают им во всем мире, на этот раз оплошали. Впрочем, они сплосховали вообще.

– Прошляпили, – вот слово, брошенное народом на площадях, как площадная брань.

– Непобедимых армий не было и нет, – сказал Молотов. Фраза с двухсторонним промахом: в России никто немецкую армию непобедимой не считал. Красная армия этими словами вычеркивалась из «непобедимых».

«Наполеон тоже был в Москве» – параллель, приготавливающая стези к отступлению, а то и потере Москвы, – весьма рискованная в смысле паники и пророческая в своей фатальной повторимости: по этой параллели и пошла война в первом своем, ничего не решившем, этапе.

«Создать народное ополчение» – еще одна неутешительная историческая параллель: надежды на армию, пожирившую половину народного дохода 25 лет, – нет.

Молотов, с огромной силой воли преодолевая заикание и понятное волнение, довел свою речь до победоносного конца: «Победа будет за нами!»

Все ожидали еще одной речи, но главный вождь, пока еще даже не генерал, молчал – чтобы через две недели, видя провал на всех фронтах, выступить со своей, пожалуй, единственно искренней – или прочувствованно-лживой речью: «Братья и сестры!»...

Пройдет война, и еще несколько немировых войн (надо же было повоевать тем, кто не участвовал в великом сражении, и тем, кто еще не навоевался), но эту речь, вернее, первые ее слова, их просительный тон – будут помнить.

Сразу же началась война в эфире. Только к вечеру московским глушителям удалось справиться с немецкими.

Редактор сам организовывал неизбежные отзывы трудящихся и передавал их Дмитрию на правку. «Бей фашистских гадов, – еще из рядов выкрикнул товарищ Иванов и вышел на трибуну». И это не был из ряда вон выходящий товарищ Иванов: к вечеру Ивановых, выходящих из рядов, набралось в заметках до сотни.

Кто как встретил войну? Этот день навсегда останется у всех в памяти. В душевной общественно-государственной атмосфере многие «сыны отечества» встретили войну не как бедствие, а как избавление от гнетущей несвободы. Для них война была клапаном, выпускающим, как пар, духовные силы на волю – на простор сражений, поражений или побед, опьяняющих до самозабвения.

Наивные авантюристы и романтики встретили войну с падающим, жутко замирающим сердцем.

Больше всего война взволновала врагов советской власти, сидящих в концлагерях, или живущих под надзором, или просто недовольных. Врагов у России – русских – нет. Есть только политические противники, большевицкой властью обиженные. Их восприятие войны было наиболее сложным: избавление или бедствие? Оно стало симптомом вскоре определившегося трагического отношения к войне лучшей части советского общества. Одни ушли из России с сокрушенным сердцем, и борцов против власти из них не вышло, другие боролись, считая себя в душе изменниками, третьи, отчаявшись, не найдя решения, умирая за Россию, спасали чуждую им власть.

Большинство же гуляющих на свободе (относительной) молчало. Война так война! Чему быть, того не миновать.

* * *

Вся водка в магазинах к вечеру была разобрана. Когда редакция хватилась – было уже поздно. Но «блат» мирного времени еще действовал. Рассыльная принесла по записке редактора несколько литров. Приготовленный с субботы на понедельник номер газеты пошел в разбор, пришлось работать всю ночь всем – и редакции, и типографии.

Набирались патриотизма и мужества, входящих как составной элемент в крепчайший для всех времен и народов напиток «Московскую особую». Капля на скатерти мгновенно застывала восковым блинчиком, капля на сердце запекалась родимым пятном – воспоминанием о первом дне войны.

Через несколько дней чудовищное засекреченное строительство было свернуто, тысячи заключенных – отпущены на свободу.

Свободу умереть на фронте. Эта отчаянная публика, в основном уголовная, налетела на город как саранча, но ее быстро пропустили через писорубку военкомата, чтобы отправить на мясорубку войны.

* * *

Только в середине июля, получив телеграмму от директора института, выехал Дмитрий в Ленинград. Под вой сирен покинул он старинный русский городок, никогда не знавший вражеского нашествия. И с этого дня он пошел по дорогам войны сквозь сплошную воздушную тревогу, грохот снарядов и бомб, не раз лицом к лицу встречая смерть и теряя ее на бесконечных сожженных просторах родины, в войну особенно чудесной.

* * *

С вокзала шли эшелоны войск на фронт. Им навстречу тянулись поезда с беженцами из Прибалтики и Ленинградской области Многие шли пешком, уже оборванные, изможденные, с остановившимися глазами. Идущие на смерть встречают уходящих от смерти. Что думают эти молодые и отборные, видя российских людей, над которыми уже надругалась война, так неожиданно и жестоко? Горят ли их сердца огнем ненависти и мести?.. Они должны гореть – и сгореть, чтобы на их пепле когда-то выросла грандиозная и призрачная, как мираж, победа.

*Война, война...
На тех вина,
Кто продает свободного,
Чтоб выкупить раба.*

Странные слова? Откуда? «Юг и Север» Элтона Синклера. А если нет, то все равно. Важно то, что в этой войне столкнулись полурабы с полусвободными. Свобода достается победителю. Победителем должна быть сама свобода.

Поезд подошел к пересадочной станции Угловка. Сладковатый, тошнотворный запах... Это первое смрадное дыхание войны успело дойти до исконно русской земли. Среди белого дня немецкие самолеты налетели на ничем не защищенные эшелоны ленинградских детей – и сожгли их за несколько минут.

Вот они, первые жертвы войны. А что же будет дальше? То же: жертвы и жертвы. Во имя чего? Во имя свободы и независимости.

Но разве мертвым нужна свобода и независимость, эти весьма относительные конституционные блага жизни? Они достанутся живым, да и то в рассрочку, с налогами. Но кто останется в живых? Кто храбрее, сильнее или хитрее? Нет, конечно. Просто те, кому суждено. И что такое война? Может быть, это тоже соревнование, в отличие от мирного, потогонного – кровопролитное: если немцы бьют нас, то чем мы хуже, чтобы когда-нибудь не показать им, как свое время японцу Араки (Халхин-Гол), где раки зимуют? Пели же пионеры:

*Если надо, Кожкинаки
Долетит до Нагасаки,
И покажет он Араки,
Где и как зимуют раки...*

Обо многом передумал Дмитрий, пока не развернулась бескрайне величественная панорама Ленинграда. Он будто впервые увидел его. Тонкий, игольчатый хохолок по проводкам нервов пробежал от глаз к сердцу. Глаза увидели – передали: вот он, любимый город. Теперь он не может спать спокойно. Песня обманула нас. Только ли песня? Сердце, пока еще такой же

чистоты, как глазные хрусталики, сжалось, забилося в этой жалости: что его ждет, любимый город? А тебя самого?

Толпа приезжих вынесла на вокзальную площадь. Через несколько минут уже был у знакомого дома на Старом Невском проспекте. Гранитные львы, по-собачьи поджав хвосты, по-прежнему сидели в подъезде, у подножья колонн. Когда-то – давно ли это было? – Тоня заставляла здороваться с каждым из них за лапу, не как-нибудь.

– Мои Церберы, – говорила она, – не бойся, не кусаются.

Львы были, но Тони не было. Квартира была запечатана – крупная сургучная печать Генерального Штаба свисала на дощечке с plombой.

– Уехали, – сказал дворник, – все уехали. Жена – на юг, на Кубань, что ли, енерал – само собой, воюет, а стрекоза тоже на фронт подалась. Чаво?.. Записка?.. Да, она мне что-то оставила, да я не помню, куда задевал. Ужо поищу.

Сразу идти в институт не хотелось. Надо было побродить по городу – бесцельно, как всегда после разлуки, даже недолгой. Невский проспект... Это первое и самое главное, что должен обязательно видеть каждый, свой или гость, приехавший в Ленинград.

Он красив, Невский, как и двести лет назад, мужественной, суровой красотой, которой так отличался сам Петр от всех земных царей.

Невский проспект по-прежнему высоко держит свою голову – шпиль Адмиралтейства.

Но от блеска его и нарядности почти ничего не осталось. Первые этажи домов сделали шаг вперед, оградив себя противоосколочными каменными щитами. Это первые щиты защиты.

Безобразные щели и траншеи вырыты около памятника Екатерине Второй. Земля разбросана как попало, на кусты и клумбы. Еще больше изрыт Адмиралтейский сквер.

Вот они, первые скорбные морщины на твоём прекрасном челе, град Петров.

Однажды Дмитрий поднимался на купол Исакиевского собора. Тогда впервые и навсегда – поразил его почти стокилометровый размах Северной столицы. Кругом, до самого горизонта, не было видно ничего – ни полей, ни лесов, – кроме стройного каменного массива из ста островов с оазисами парков и скверов, разрезаемого на части Невой, Невкой, Фонтанкой, Мойкой, Большой Охтой, Малой Охтой, каналами.

Если бы снова подняться на купол собора, теперь, наверное, можно было увидеть вооруженным духовным зрением глазом, как мучительная, жестокая гримаса войны исказила черты каменного лица города.

Дмитрий обошел вокруг собора. Над свинцовой Невой отдохнул на полукруглом бастионе – гранитной скамье. Здесь сиживал Пушкин. Некоторые сидели напротив – в Петропавловской крепости. Один князь Кропоткин сумел из нее бежать. Советская власть открыла в крепости музей. А сидят в других местах: на Литейном, Шпалерной, в «Крестах», в Нижегородской. Когда-нибудь устроят музеи и там.

Бригада рабочих заделывала памятник Петру. Со всех сторон заваливали пирамидой из мешков с песком. Но державная рука высунулась на волю, протянулась к Неве, к враждебным финским берегам, а может быть, и дальше, к сердцу Европы. Потом мешки обшили тесовыми досками. В скором времени все памятники, старые и новые, будут прикрыты или сняты и увезены куда-то. Почему-то оставят в покое одну Екатерину Вторую, и при жизни весьма скульптурную женщину, – один из самых крупных и ценных памятников. Она так и простоит всю блокаду, как голая, в окружении своих славных сподвижников, – и уцелеет.

Почти все театры, кино, рестораны, магазины – открыты. В академическом Александринском идет «Фландрия», в театре Радлова – «Бравый солдат Швейк», в «Музкомедии» – что-то веселое, не то «Вдова», не то «Цыганский барон»... Этому театру трудно перестроиться на военную тематику. В «Комедии» – «Под липами Берлина». В большом Гостином Дворе доверенные рекламы Пищеторга: «Здесь эскимо», «Всегда горячее какао», «Пирожки с мясом 25

копеек штука»: розовощекий парень уписывает пирожок. Зубы у него белые, как у негра на крышке зубной пасты.

На фасадах зданий, на чугунных оградах, на специальных щитах – новые плакаты, художественное оформление войны. На одном фантазия какого-то художника изобразила неведомого, как марсианин, молодца с вытарашенными глазами, поставленными так, как в известном рисунке с оптическим обманом в «Занимательной физике» Якова Перельмана: куда ни повернись, всюду встретишь этот прицеливающийся в упор взгляд. Укоризненно указывая перстом на прохожих, молодец вопрошал: «А ты (мол, сукин сын), что сделал для освобождения своей Родины?..»

На этот плакат старались не смотреть: еще мало кто из идущих по проспекту сделал что-нибудь полезное. Но разве уже вся Россия отдана врагу? Пока не отдано и десятой доли. От кого же освобождать? Не от тех ли против народа вояк, под кем большая часть?

Всем нравятся плакаты: «Вперед, буденновцы!» – с усатым дядей а-ля Буденный на коне, и – «Родина зовет» – красивый мужественный солдат трубит в горн.

У Казанского собора – громадное историческое панно: немцы в смешных костюмах подносят ключи Берлина графу Чернышеву. Поднесут ли нам? Пока что преподносят пилюли, вроде бомб и снарядов, на почти не защищенные – ни с земли, ни с воздуха – города.

Казанский собор и при советской власти оставался святыней. В нем хранятся бесчисленные штандарты немецких, шведских, польских, турецких, французских и австрийских армий. Здесь же ключи от Варшавы, Вены, Будапешта, Берлина и Парижа. Конечно, эти ключи устарели. К этим столицам теперь нужно подобрать другие. Да и кто об этом думает?.. Уцелеть бы самим...

Война красна не началом, а концом, а больше кровью. Буря грянула. Бои идут с переменным – то большим, то малым – успехом. От Белого до Черного моря извивается огненный змей – линия фронта.

*За море Черное, за море Белое
В черные ночи и белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни.*

8. Окопы

Уходил июль, а с ним и белые ночи. Они отлетели от города, как чайки с тонущего корабля.

Впереди были черные ночи, и черные дни. Начались они на окопах.

– Все на окопы! – кричали агитаторы, радио, плакаты.

Студенты, профессора, артисты, чиновники – все взялись за лопаты и кирки. Даже рабочие военных заводов: в те дни «ямочки», вырытые «ленинградскими дамочками», – как писали немцы в глупых листовках, казались важнее военных заказов.

Окопы были не только началом трагической эпопеи Ленинграда, школой его жителей и защитников в надвигающихся на них, как зимние холода, муках, которые трудно даже назвать человеческими. На окопах проявились две характерные черты, удивительные для советского гражданского населения, не знавшего ни немецкой оккупации, ни еще не определившегося партийного национально-русского курса.

Красной, политой кровью, нитью прошли они через всю блокаду: великорусский патриотизм и фатальная покорность. Покорность власти, скрыто ненавидимой и почти открыто презираемой (чего стоило ленинградцам одно убийство Кирова!), но больше – судьбе. Мужественная, безропотная, беззаветная, как преданность, – покорность. Просияла, как радуга, и фанатическая любовь к своему городу. Пожалуй, за двести с лишним лет никто, кроме самого Петра и поэтов, не любил так горделивую северную столицу, как четыре миллиона ленинградцев, потомственных рабочих, моряков, военных, ученых, писателей, артистов и студентов – цвет страны, обращенный лицом к Западу и сердцем к России. Москва-собирательница, Москва-кликуша, Москва-купчиха, Москва-митрополичья и Москва-университетская – сыграла первую скрипку в величественной народной симфонии создания Государства Российского. Но блистательный петербургский период был насильственно оборван не революцией, а советской властью. В Москву перевели почти все всероссийские Учреждения и знаменитости ученого и артистического мира. Когда прошел слух о строительстве Московского моря, ленинградцы не на шутку беспокоились за судьбу Балтийского флота: не перетянут ли и его, хотя бы волоком, в Москву...

В иступленной любви ленинградцев к своему городу был и протест против властителей, засевших в Москве-сопернице.

Героизм и мужество были тоже характерными чертами людей и дней блокады, но в этом нет ничего удивительного.

Было ли смешение всех этих черт взлетом российского фатализма, и было ли оно, как говорится, политически правильным – это другой вопрос.

Но ни в Москве, ни в Севастополе, ни в Одессе, ни в Киеве, ни в Сталинграде – ничего подобного не было...

* * *

Окопы были также и промежуточным этапом, смягчающим и подготовляющим переход от полумирных первых дней войны к безвыходной блокаде. К концу июля на окопах был весь Ленинград. В самом городе уже ничего не оставалось делать: перекопали все вдоль и поперек. На фронте тоже, после падения Таллина, оставалось только отступать вплоть до Ленинграда.

Ленинградского направления так и не появилось в сводке. Потом, когда уже немцы подошли вплотную, Совинформбюро, а за ним и весь союзный, так называемый свободный, демократический мир заговорил о Ленинградском фронте. Немцы кричали о нем давно.

Сначала на окопы возили поездами. Потом с конечных трамвайных остановок – автомобилями. Наконец, трамваи прямо подвозили к окопам. Дальше ехать было некуда. «Ямки», вырытые в июне, немцы взяли в июле, июльские копания – в августе, августовские – в августе же. В сентябре немцы остановились. Противотанковые рвы, простые окопы зигзагами, волчьих ямы, блиндажи и землянки с бревенчатыми перекрытиями – все это были небольшие преграды материальные, скорее – духовные, и поэтому, очевидно, сослужили свою службу.

«Личный окоп» нередко спасает солдата под ураганным огнем и под уютящим танком. Грандиозный окоп вокруг города помог ему устоять почти три года. Окопы – это была русская земля. Кто знает ее силы? Осажденный город, как легендарный Антей, прикасался к земле каждый раз, загребая горсть коченеющими пальцами, когда под рукой уже ничего не оставалось, и земля давала ему силу и надежду.

Окопы напоминали строительство какого-то нового сталинского канала: и сотни тысяч одетых во что попало, полугодных (пока, в августе) людей, и миллионы кубометров вывернутой наизнанку земли. Да это и был новый Обводный – вокруг города – канал, но потекла по нему не вода, а кровь.

– Вот она, наша студенческая линия обороны, – показал Саша Половский Дмитрию, – от этого холма до того непролазного болота, чтобы оно провалилось! Видишь: по мшистым, топким берегам чернеют избы здесь и там, приют убогого чухонца. Карело-всякие финны разбежались не только из-за немцев, но при виде нас: кто в капиталистический рай (изменники), кто в социалистический, а кто в небесный. Здесь, брат, уже пробомбили еще до нас изрядно.

Саша был бодр и весел. Низкорослый и голубоглазый, слегка похожий на Есенина, с вымазанными глиной небритыми щеками, он сиял. Можно было подумать, что рад и войне, и окопам. Да он и был рад войне – в глубине души, окопам – даже снаружи.

– Война действует на мои нервы только возбуждающе, с оттенком жутковатости – ни страха, ни совести.

Окопы для него начались чуть ли не с первого дня войны, еще в городе. («Севпальмирвоенстрой» – назвал он). В начале июня он сдал экзамены – провалил только немецкий язык. Когда началась война и пришли первые вести о поражениях, заявил директору:

– Всякие Мински и Пински падут, а на Ленинград будет смотреть весь мир. Я хочу остаться, чтобы тоже на него смотреть. Я один. Моя мать уехала в Сибирь, к брату. Деньги пока есть, на пока. Прощу считать меня снова настоящим студентом, а не заочником-заоблачком.

Директор согласился и послал его «пока» на окопы. Постепенно съехалось десятка два студентов – из тех, кто был на практике в газетах Ленинградской области, военного округа и Прибалтики (куда многие стремились). Директор несколько раз подавал в военкомат заявление о том, что все они добровольно желают вступить в армию. Но к этому времени волна добровольчества, искусственно поддерживаемая «на высоко идеологическом уровне», унесшая на тот свет тысячи совершенно не подготовленных к войне и смерти юнцов и стариков, – спала. Ленинградский фронт, уже полускованный, был пересыщен человеческим материалом. Ему не хватало другого: военного снаряжения, боеприпасов, провианта, а больше всего хорошего командующего. Его не было.

Ворошилов, герой Гражданской – своя своих не познаша – войны, ничего не смыслил в современной битве машин и генералов, затурканный Сталиным и Ждановым, сложил руки и фактическое командование. Мог бы сложить и голову, но отозвали в Москву. Сталин умно посадил его командующим всех партизанских частей. Нашел и себе местечко – рядом с Суворовым: скоро сам себя пожалует «генералиссимусом».

А пока во что бы то ни стало нужно было спасти Ленинград – город мирового престижа, крупнейших в мире заводов, величайших научных и культурных накоплений и всего золотого запаса России. Немцы бросили в бой первоклассные дивизии, доселе не знавшие поражения. Перед ними отступали, упираясь в свои «единоличные» окопники, тоже весьма хорошо воору-

женные и обученные (не в пример другим фронтам) войска Ленинградского военного округа, теперь Ленфронта. К ним присоединились, держась, однако, особняком, – «черные морские гусары» – или попросту «черти», как их называли немцы. Многих моряков с потопленных судов Балтийского флота списали – кого в царство Нептуна, кого в пехоту.

И к ним всем присоединился весь город: вскоре ему самому суждено было стать фронтом, да еще каким – из города ездили на «настоящий» фронт отдыхать. А жители его стали солдатами, достойными не таких, в сущности, правдивых и простых описаний, а легенд и сказаний...

Работали с утра до ночи. Часто линия окопов шла прямо по огородам. Это был «Зеленый Ленинград» – полоса колхозов и совхозов, поставляющих в город овощи.

Лопаты с хрустом врезаются в крупный, хорошо уродившийся картофель. Окопники ругались – как можно пропадать добру. «Значит, надо спешить, – оправдывались «партийные», – враг близок». Никто из переживших блокаду не забудет эту картошку. Много бы отдали за нее уже через месяц-полтора.

А что бы стоило почти миллионной армии окопников убрать с огородов тысячи тонн овощей.

Людей было столько, что работали локоть о локоть. Нашлись умники – нормировщики, намечавшие линии «отселева доселева», но их быстро послали к черту. Иногда город был совсем близко: виднелись трубы какого-нибудь столетнего завода имени какого-нибудь пятидесятилетнего вождя, мертвые теперь новостройки многоэтажных жилых домов. Близость города усугубляла отрыв от него, волновала молодежь. Но скучать – не скучали. Ночевали в избушках – без окон и дверей – финских деревень, а чаще в стогах: нравилось. Вечерами бродили по садам и огородам. Год был урожайным и на фрукты. Фрукты, главным образом, яблоки, нигде не пропали. Окопники сняли их вмиг... Иногда студенты устраивали концерты самодеятельности. Артисты с всероссийскими именами тоже были здесь. Копали и пели.

Вокруг Ленинграда, еще красивого, спокойного, гордого, как осы у цветущей яблони, кружились немецкие самолеты. Нередко они, острастки ради, били по окопникам из крупнокалиберных бортовых пулеметов разрывными пулями. Раненых было мало... Только убитые. Тоже, правда, немного.

Иногда над головами окопников, читавших о войне только в книгах, десяток «красноголовых» истребителей вступал в бой с полусотней немецких «бомбардировщиков» и «мессеров». Это был героизм более чем очевидный: в небе, на глазах у всех. К удивлению «публики», такие бои часто были безрезультатны.

В селе Рыбацком, где долгое время копалась бригада студентов, стоял артиллерийский полк с зенитками. Большие и гладкие, с лоснящимися боками орудия стояли молча, как коровы в стойле, пережевывая опущенными прожорливыми жерлами хвойную жвачку: что-что, а маскироваться умели хорошо с первых дней войны. Но зенитки – у них работа была: непрерывно тархтели. Только ни одного самолета не сбили – по крайней мере, над селом Рыбацким.

– И какие мы зенитчики, – признавались солдаты, – слесаря мы. Но ничего, дайте обвыкнуть.

Это они – девушкам, которые не любили их за прямые непопадания и всегда выпроваживали с окопных вечеринок, приговаривая: – Не умеете стрелять – уваливайте.

Но однажды зенитчики все же отличились. Пролетало, как обычно, курсом на Ленинград звено чернокрылых разведчиков. Один, из удалства, спикировал, полоснул свинцом по окопам. По нему, выходящему из пика, били все зенитки. Одной удалось вклепить снаряд в хвост. Ударом самолет подбросило немного вверх, и он, медленно перевернувшись вниз мотором, стремительно рухнул в лес! Зенитчики были всеми признаны. Девчата бегали на батарею целовать их.

9. Первые удары

«Этак, пожалуй, скоро начнут и бомбить, – поговаривали на окопах, – теперь ему ясно, что так, целеньким, город не взять». Третий месяц со дня войны кружили немецкие самолеты над Ленинградом, но за черту города прорывались только разведчики. В подвальной статье «Правды» – «Опыт противовоздушной обороны Ленинграда», хвастливо-обстоятельной, – все же не утверждалось, что Ленинград невозможно бомбить: «Немцы не раз пытались прорваться эскадрильями в 100 и 150 машин, но их рассеивали». А если соберут армаду в 500–600 самолетов?

Многие думали, что немцы хотят взять город «целеньким», в немецких «прелестных» листовках указывали даже срок – 15 октября.

Оптимисты уверяли, что зенитки, расположенные в городе в шахматном порядке, не дадут немцам хозяйничать в небе.

И вот погожим августовским вечером на Ленинград были сброшены первые бомбы. Ни «ястребки», ни «шахматные» зенитки ничего не могли поделать против звездного налета сравнительно небольших эскадрилий. Это был новый метод, принесший, наконец, немцам успех.

На окопах о бомбежке узнали только утром. Первым желанием почти всех было – бросить надоевшие лопаты и кирки и бежать в город.

Сотник, директор консервной фабрики, переведенный в Ленинград из Грузии незадолго до войны, был знаменит своим именем: Акоп. Студенты перекрестили его в Окоп и прибавили – Акопян. Акоп Акопян был известным армянским поэтом, из попугачиков. Разговор сотника с «дамочками» передавали по окопам и фронту, как анекдот:

– Вай, вай, душа любезный! Что мы так кричим? Мы имеем такой один мудрый русский поговорок: ехал солдат на Тыплис. Его блоха кусал, кусал. Солдат его поймал, сказал: «Не хотел ехать на Тыплис – поворачивай назад», и выбросил ее в окно. Так и я вам, – сказал Акоп, – не хотите копать окоп – поворачивай назад в Ленинград. Вы убижал, немец приближал, что сказал? – Дурак! – сказал. А что НКВД сказал? Тюрьма – сказал. Вы там сы-дел? Я сыдел.

Постепенно волнение улеглось. «Все крупные города уже бомбили, – успокаивали друг друга, – потерпим и мы». Один старик упрекал соседку:

– А вам бы, гражданочка, надо было уехать, уж если вы так боитесь!

– Молчи, вояка! – взвизгнула гражданочка. – Чтобы я уехала из родного города? Думаешь ли ты, что мелешь, старый хрен? Я не боюсь. Просто – зло берет, и обидно: почему они – нас, а не мы – их?

Снова предложили всем невоеннообязанным и женщинам с детьми спешно эвакуироваться. «Вербовщики» разъезжали в «эмках» по окопам.

Охотников уехать находилось мало. Первые эшелоны ушли еще в первые дни войны. На их место прибыли ленинградцы же, рассеянные до войны по области, Прибалтике и Северу. Поэтому, как было – 4 миллиона жителей, так и осталось. Закоренелые неисправимые питерцы не хотели покидать свой город. У одних это было трагическое непредвидение событий, у других – еще более трагическое русское «будь, что будет», у третьих – самоубийственное, всероссийское равнодушие к своей судьбе.

– Умрем под стенами своего города, но не уедем! – это не был партийный лозунг. Это вообще был не лозунг, а искреннее чувство, от которого недалеко было и до «Умрем, но не сдадимся!»

Вились, назойливее мух, слухи. Слухи на войне достойны изучения – как очень важный психологический и политический фактор. Иногда самые нелепые сбываются, а правдоподобные лгут. Они никогда не отстают от событий, а всегда опережают, предвещают их. Слухи войны – это не бабы сплетни мира. Даже полководцы склоняют к ним оглохшие в битвах уши.

Слух о снижении продовольственных норм давно уже тревожил людей. К нему так привыкли, что, когда сбылось реченное через кликуш – не ужаснулись, не возмутились, а только призадумались. Первое августовское снижение норм – почти что на все продукты – было «половинчатым»: раньше рабочие получали 800 и 1000 граммов хлеба в день, теперь – 400, мяса – 80 граммов, масла – 30; служащие на 30 % меньше, иждивенцы на 50 %.

Студенты, как и все учащиеся, входили в группу «служащих». В первые дни войны они с недоверием разглядывали продовольственные карточки цвета охры, отпечатанные на денежной фабрике «Гознак»: так вот, оказывается, сколько должен съесть нормальный здоровый человек! Они и не знали. Вечно полуголодные, никогда не видали и половины положенного. Поэтому, не переставая удивляться, многие продавали свои «жиры и сахара»: деньги были важнее, без них на те же талоны не пообедать. Вот почему августовские нормы для них были нормальны...

А окопы все еще не были ни подвигом, ни буднями. К ним привыкли. Получали свои 9 рублей в день и два выходных дня в две недели. Для многих студентов девять рублей в день были большими, первыми в жизни самостоятельно заработанными деньгами.

Через несколько дней после первой бомбардировки студенты, возглавляемые Половским, получили отпуск в город на два дня. Все «бесенята» были в сборе. Не было самого Баса. До войны он был в Таллине. Директор института получил официальное уведомление, что Басова в списках раненых или плененных – нет. Он попал в категорию пропавших без вести – наиболее запутанную и драматическую с первых дней войны до последних, да и после войны.

Вспоминали: «Эх, был бы Бас с нами!», хлюпая босыми ногами по лужам. На окопах обуви не напасешься.

Никто не хотел ждать до утра. Сдав лопаты и кирки, двинулись в город «беглым» шагом.

Трамвай позванивал недалеко, километрах в трех, но дойти не успели: напоролись на патруль.

– Стой! Кто идет? – с упоминанием родителей. Ни у одного из патрульных не было карманного фонарика. Пошли к старшине, но и он ничего не мог понять.

– Какие-то подозрительные увольнительные записки у вас. И что за подпись? Нет, лучше позвать лейтенанта.

В блиндаже не было и намека на телефон. В вечерней прифронтовой полосе тишины зазвучали мирные, мерные удары... церковного колокола. На призывной звон явился пожилой толстяк лейтенант из запасных нестроевиков, но с зелеными фронтовыми кубиками в петличках. Он быстро все понял. Знаменитый сотник «Окоп», взволнованный событиями последних дней, подписался по-армянски. Лейтенант отпустил всех с миром.

– Валяйте, ребята. Я знаю этого Акопа. Это тот, который «не хотел ехать до Тыпльс»?

Долгожданные отпускные дни... Первые после первой бомбардировки.

Дома – первые жертвы – на Старом Невском и Тамбовской пострадали незначительно. Потому ли, что бомбы были небольшого калибра, или стены им попадались петровской кладки, но больше двух-трех этажей они не пробивали. Около дома Черских, на мостовой, упала бомба. Львам досталось: одному осколком срезало нос, другой сидел без хвоста.

Разве мог Дмитрий пройти мимо? Вдруг – приехала? На побывку. На три дня. На три часа!..

Перешагивая через три ступеньки, влетел на третий этаж. Но та же печать цвета губной помады висела на двери. Печать войны, заброшенности, разлуки. И свинцовая пломба. Тяжелый металл – свинец.

Вслед за Дмитрием поднялись всей компанией.

Саша Половский:

– Так вот где таилась... Понятно без слез.

Вася Чубук:

– А глаза, глаза зеленоватости о-о-озерной.

Сеня Рудин:

– А как она была сложена... А ты, Митька, целуй ее, да пойдем. Печать целуй.

Дмитрий поцеловал.

– Ну вот, – сказал Саша, – теперь все хорошо: и на устах его печать.

У Московского вокзала толпа с узлами.

В дни народных бедствий в России предпочитают узлы. В них можно на скорую руку – что под нее попало – напихать много, воспоминания, страхи и мечты влезают тоже.

У касс вытянулись вереницы безнадежных глаз и опущенных рук. Кажется, уже поздно.

Но Невский проспект живет прежней блестящей и шумной жизнью. Звенели трамваи, переваливались, как бегемоты, катили троллейбусы. У театральных касс – очереди. На улицах плакаты со словами старика Джамбула:

*Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск Невской струи.*

Это первый сигнал кампании моральной поддержки ленинградцев: обращения, коллективные письма, призывы и приветия посыпались из пропагандного рога изобилия. Но были и трогательно искренние послания. По рукам ходило наивное и страстное письмо группы эвакуированных на Урал ленинградских рабочих: «Прогоните этого дурака Ворошилова. Он же ничего не смыслит. И Жданова заодно, все равно он не заменит нам Кирова. Возьмите дело защиты города в свои руки. Пусть Мерецков командует, Кулик, Шапошников. Держитесь, родные... Мы с вами. Да здравствует наш Питер!..»

Какая-то неунывающая религиозная секта, крайне стесненная в материальных средствах, за неимением гербовой, а также пишущей машинки писала листовки от руки, на тетрадной бумаге в клеточку, и забрасывала их в окна квартир, подсовывала под двери, подкладывала в кресла театров.

«Да поможет нам, ленинградцам, Бог...» – гласила первая строка.

«Молитесь Богу... Времена Апокалипсиса настали. Но Христос шествует к нам. Он уже идет по вершинам Кавказа».

Письмо длинное, с массой ошибок и восклицательных знаков.

И какой-то уже голодающий мыслитель, впавший в черную меланхолию, строчил на красной оберточной бумаге – черным по кровавому – послание: «Всем, всем», кончающееся почти библейским «Быть Петербургу пусту».

Длинные языки работают на длинных волнах, короткие – на коротких. Все эти письма и послания давали пищу мещанской радиоактивности. Слухи и «тайные» письма были перенасыщены ожиданием чего-то неминуемо страшного, – психо-фантастический раствор, из которого иногда выпадали кристаллики истины. По настроению этот фольклор мало чем отличался от газетных посланий и обращений. И само «Обращение к ленинградцам», подписанное Ждановым – секретарем партийной организации Ленинграда и области, Попковым – председателем исполкома и Ворошиловым – горе-командующим северо-западным направлением, – было почти прямым подтверждением панических слухов: не мытьем, так катаньем немцы хотят взять город. Они подошли близко. Видя, что удар в лоб не удастся, они заходят с другой стороны. Вернее, со всех сторон.

Таков был смысл воззвания, спрятый под перекрытием дубовых партийных фраз и криков о победе, которая так же – не мытьем, так катаньем – когда-то «будет за нами».

Еще в конце июля, когда немецкий штаб и сам еще, очевидно, определенно не знал, что предпринять под Ленинградом, по рядам окопников прополз зловещий слух:

– Окружают. Хотят взять измором...

И дрогнули сердца людей, оставивших свои семьи, чтобы добывать в земле защиту и победу.

Наступил день свершения и этого слуха...

* * *

Студенты налегли на пиво. Водку в магазинах припрятали. Выставили было на показ вина дорогих марок – и те расхватали. Оставалось пиво: крепкое, бархатное, завода имени Стеньки Разина. Почти все пивные заводы – имени этого в свое время не только разбойника, но и романтического героя, а теперь революционера, почти старого большевика. Обувные фабрики – имени Семашко, папиросные – Клары Цеткин, пищевые комбинаты – Микояна.

Пиво имени Степана Разина начали пить за обедом в кавказском подвальчике на Невском. За талоны в 25 граммов мяса и 5 граммов жира подавали полшашлыка с полугарниром.

– Перец – да, – информировал заранее официант, – зеленый и красный, стручковый и дрючковый, но лимон – нет.

– Слегка подкрепились, но более наперчились, – резюмировал Саша Половский, и уже поздно ночью добавил:

– А главное – напильсь.

Запретный час застал всю компанию, руководимую нетвердой рукой Половского, в Мариенгофском парке.

Домой, в общежитие, идти побоялись: с ночным караулом шутки плохи. Прилегли в кустиках. Среди ночи проснулись от близкой трескотни зениток. Где-то в городе пробомбили, коротко и ясно: началось. Воздушная битва за Ленинград проиграна. Теперь тяжелые плоды поражения будут сыпаться на голову. Это была вторая бомбежка.

* * *

В общежитии ворох писем. Почти все – довоенные... Голубые и желтые конверты блеснули последним прощальным лучом ушедшего мира и последним – на долгие месяцы или навсегда – приветом.

Иван Якушев писал Дмитрию: «Теперь мода – писать всякие послания ленинградцам. Держитесь за землю, если будете падать. Ты же, Митря, защищай Севпальмиру во всю... Весь мой курс идет добровольно на фронт. Пока сидим без дела. Говорят, что пошлют в военно-политическое училище. Чему еще нас будут учить после трех курсов литфака? Истории партии?»

Бувай. Пиши мне, не забывай. Твой Иван».

10. Фоновое кольцо

На окопы друзья вернулись вовремя. Утром лейтенант с зелеными кубиками встретил их как старых знакомых.

– Что, поворачивай назад?

– Да, теперь уже на Тыплис, хотэл – не хотэл, все равно не проедешь.

– Что слышно в Питере?

– Бомбили второй раз.

– Без вас знаю.

– Крысы разбежались. Мы, например, ни одной не видели.

– Не зубоскальте. Это плохая примета. Крысы и с тонущего корабля бегут.

– Ну, ладно, старина, довольно каркать. Сам не утони здесь, в своем болоте.

...Линия окопов пошла по болотам и граниту. С 5 часов утра до 8–9 вечера долбили и разгребали то камень, то грязь.

– Вот видите, на чем построен наш город, – говорил студентам профессор русской истории Пошехонов, – на воде и камне, да еще на костях человеческих. Быть может, эта жестокая война разрушит славный Питер, но он вырастет снова, и на этот раз, возможно, на наших костях.

– И пусть, пусть на наших костях, – отвечали ему хором, – лишь бы он вечно стоял на Неве.

Работали, как «ишаки», – так докладывал сотник по начальству.

И что за осень стояла на питерском дворе... Такой, наверно, не помнили ни Петр, ни Пушкин, а о нас говорить нечего. Голубое, летнее-летнее небо плыло над оранжевой землей. Ни ветер не пролетит, ни дождь не сорвется. Только самолеты со свастикой, да бомбы, пока еще редкие, куда попало, как слепой дождь.

После работы иногда слушали профессорские «вроде лекций». Снова пристрастились в «очко». Высокие стога сена были сценой для выступлений артистов, а иногда безобидных, почти добродушных драк, ревности и вообще драм и романов малых форм. Лозунг «Все равно война», отчаянно-равнодушный на всех языках, впутанных в тяжелый и длительный разговор, упростил чувства – хорошие и плохие. Средних чувств не бывает. Разве равнодушие – это, пожалуй, единственное. Но и оно упростилось до отупения.

Рождались, со всеми завязками и развязками, романы.

Одна работница в «кожанке», не только работала с Дмитрием локоть о локоть, но и спала бок-о-бок.

Русская женщина в кожаной тужурке, героиня гражданской войны... Борис Лавренев писал, что с такой приятно лежать в окопе, но не в постели. А эти – ладные и красивые, спортивные, молодые женщины украшали окопы, как цветы на лугах.

Попали на окопы и «блатные», недавно выпущенные из тюрем воровки, подруги воров, или проститутки упрощенного социалистического типа, т. е. полупрофессиональные (настоящих в России давно уже нет). Смазливые и рослые девицы эти держались особняком, курили, красили губы, носили кожаные куртки и красные сафьяновые сапожки. Пели свои песни:

*Ведь все равно, наша жизнь поломатая,
И тело женское проклято судьбой.*

Самой популярной была песня о Мурке, которой было не то мало «барахла», не то она «идейно» спуталась с лягашами (милиционерами, сыщиками), и вот вам результат:

*Там, на переулке
В кожаной тулзурке
Мурка окровавлена лежит.*

Не странно ли, что эта песня о «ловкой и красивой» Мурке добрый десяток лет распевалась всей Россией, юнцами и отцами семейств. Мотив ли ее простой, чисто русский нравился, пришла ли она вообще к разоренному посленэповскому двору?

Саше тоже улыбнулась окопная любовь – краснощекая девица, работница консервного комбината имени, разумеется, Микояна, который в свое время тоже не захотел ехать «на Тыплыс», а прочно обосновался в Москве.

– Я знаю, что вас зовут Саша, – сказала она без обидных обиняков, – а меня Маруся. Приходите ко мне в гости. Я вон в той избушке на курьих ножках поселившись.

Потрясенный Саша ничего ей не ответил, хотя открывал рот и моргал глазами.

– Чего он моргает? – удивилась девица и ушла, обидевшись. Только через несколько дней, когда вечера похолодали, а насмешки приятелей надоели, Саша направился к избушке без окон и дверей с решимостью Дон-Жуана, бросающего вызов Каменному гостю.

Заметно уменьшился окопный рацион. О сытных обедах с мясом забыли. Хлеба тоже не стало хватать. Его заменили картошкой, а мясо – бобами, фасолью, горохом, чечевицей. Чечевица... Сваренную ли в окопном котле, поданную ли в ресторане – с янтарными каплями льняного масла, миндалевидную, только что не прозрачную, – кто из ленинградцев может ее забыть. Это было последнее, что ели досыта, и первое, что вспоминали до исступления.

На обед давали чечевичную кашу. Но вскоре и этого не стало вволю. Ходили по полям, собирали неубранный, морщинистый горох. Им закусывали чистый спирт. Его целыми бутылками привозила Сашина девица, иногда успевавшая за ночь «смотаться» на свою «микояншу». Спирт сразу «брал за жабры», а горох, звонко хрустящий на зубах, пережевывали медленно, с наслаждением.

Профессор Павел Петрович Пошехонов и друг его студенческих лет, университетский профессор-геолог, 65-летний старик, оба лысые, без очков и бороды, зато с запорожскими усами, – от гороха отказывались: не по зубам, но спирт «пробовали» охотно, только просили развести водой.

– Иначе дух захватывает, – с виноватой улыбкой говорил Павел Петрович, – а дух-то старый, еще дореволюционный.

– Не оправдывайтесь, знаем мы вас, – подшучивали, перемигиваясь, студенты:

– Ломом вкалываете не хуже нас, молодых, – только камни летят.

Ломом приходилось ворочать как следует. Ни лопата, ни кирка не брали выпиравшие из болота каменные плечи, едва прикрытые шевелюрой кустарника или мхом и лишайниками.

Павел Петрович был любимым профессором. Лекции он читал по старинке, без всяких конспектов, расхаживая между рядами. Программы Наркомпроса он не считал для себя законом. Из года в год на третьем курсе читал он свой знаменитый цикл лекций о культурно-исторической роли православия на Руси – почти «новый» и смелый по тому времени.

– Я одинок. Моя семья – это вы, – не раз говорил он с кафедры. – Учитесь хорошо. Перед вами лежит вся жизнь, весь мир, и стоят великие задачи. Не мне вас учить политграмоте, которую я, кстати, и сам не знаю. Вот я и говорю: скучна, бледна история нашей страны, медлительно течение ее великих дней, как великих рек, – по сравнению с бурной и яркой историей Европы. Но у нас крупные события обычно все переворачивают вверх дном и оставляют глубокие следы в веках. Серьезна наша история. Трагична, может быть, – не знаю. Но в ней этакая степенность мужика, его пьяный разгул и трезвое упорство. А главное – гениальное терпение до крайности, а то и до бескрайности. Эта война тоже может перевернуть все вверх дном, но мы победим, вот увидите.

Постепенно на окопы переместились важнейшие жизненные центры города – рынки. Торгаши и менялы раскинули свои шатры на сеновалах: сухо и можно всегда надежно «зана-чить» товар, да и самим спрятаться при обыске. Ленинградцы, с присущим им остроумием, назвали такие рынки филиалами известного Сенного. Это были предтечи Голодных рынков осадных дней. Здесь впервые начал стремительно падать рубль. Спекулянты пожимали плечами.

– Что деньги... Гоните нам теплое барахло, золото, бриллианты, в обмен на спирт, водку, хлеб, табак – что хотите.

Этим людишкам, всегда напичканным товарами сверхширокого потребления и слухами-сплетнями сверхдальнего распространения, суждено было сыграть весьма важную роль в трагедии Ленинграда. Они же первые сказали страшное слово:

ГОЛОД...

У военных ничего нельзя было добиться толком. Отмалчивались или отругивались.

Но вот все пришло в движение. Треща и подпрыгивая, пронеслись мотоциклетки связных, загудели автомашины – одиночные и бесконечными колоннами. Молча проходила угрюмая пехота; за нею – тягачи с тяжелыми орудиями и, наконец, танки, танкетки, самоходные пушки.

Как зачарованные, смотрели окопники на эту почти киноленту фронтовой передраги.

Ранним утром, вернее – это была еще ночь, – ароматная хвойная настойка тишины расплескалась шквалом огня. Орудийные залпы почти секундной частоты загрели по всему фронту. Это был сплошной вой, треск, вспышки. Черные, длинные руки орудий с полотняным треском разрывали на куски плотные низкие облака. И казалось невероятным, что солнце все-таки встало. И на фоне алой зари, даже прямо на солнечном диске поблескивали чешуйчатые вспышки выстрелов...

Но молодой, душевно и физически здоровый человек не был жалок в этой панораме битвы. Нет, он не был жалок, если не был трусом или не обалдевал. Блестели глаза, и сердце сжималось в радостной жути. Может быть, это вспышка безумия: если не ума – он почти не участвует в этом – так сердца... Или, наоборот, что вполне естественно, нормальная реакция на все ненормальное, величественное, потрясающее?..

Столбы дыма и огня вырастали на горизонте. Это был штурм одновременно Пушкина и Колпино. От Колпино, от Ижорского города-завода отбили, Пушкин отдали. Орудийный ураган улегся в свое, вспаханное снарядами, логовище – поле, засеянное горькими семенами-осколками поражения, из которых иногда вырастают сладкие клубни побед... Побухивали, не угомоняясь, еще какие-то пушчонки, но Пушкина уже было не вернуть. Взяли Пушкин немецкие пушки. Немцы сделали еще один скачок к Ленинграду с запада в лоб.

И не только в лоб. Это был концентрический штурм Ленинграда. В несколько дней были взяты: Лигово, Горелово, Стрельна, Петергоф, Павловск, Гатчина, Красное Село, Кингисепп. Ораниенбаум попал в отдельное окружение. В эти же дни весь Балтийский флот был блокирован немецким флотом и авиацией и не мог принять никакого участия в отражении штурма самого обреченного города.

Советские военные сводки на этот раз откровенно и правдиво сообщали о тяжелых, кровавых потерях с обеих сторон. Фронт стоял у Средней Рогатки и по ту сторону Пулковских высот. Сам Пулковский холм несколько раз переходил из рук в руки. Основной корпус Обсерватории, высокая башня с главным телескопом, библиотека – хранилище жизнеописания всех звезд, великих и малых, – все было разбито и сожжено. Но холм остался за Ленинградом, за его защитниками. Рухнула одна из мировых обсерваторий, поистине хватавшая звезды с неба, но под ее останками уцелел Пулковский меридиан, мировая русская орбита.

А в Гатчине, на высоком обелиске у входа в вековой пушкинский парк, пришельцы цементировали огромного черного паука – свастику.

Нашлись люди, готовые жертвовать собой, лишь бы сбить эту свастику – во имя Пушкина, во имя России.

В Александровском дворце расквартировалась потрепанная в последних боях испанская Голубая дивизия. Прославилась она больше на «бабьем» фронте, да и там ей не особенно повезло. Россия встретила войну все еще отсталой во многих отношениях, особенно – в отношениях между мужчиной и женщиной.

На Карельском перешейке, в сторону Ладожского озера, немцы и финны не подошли к Ленинграду ближе, чем на 60 километров. Это была самая глубокая излучина в замыкающемся вокруг города фронте, подошедшем со стороны Кировского завода на 2–6 километров от города, в других местах – на 8, 9 и 15 километров.

Черная речка, где сто с лишним лет назад пролилась праведная кровь поэта, а теперь лилась кровь его потомков, осталась после тяжелых боев за нами; ставшая в Парголово и Токсово большая армия – заслон против финнов – так и осталась, и простояла всю блокаду без движения.

Несколько немецких дивизий штурмом взяли Дудергоф – Воронью гору, ставшую артиллерийской Голгофой Ленинграда. С этой горы, господствующей над всей округой, немцы корректировали артиллерийский огонь во все долгие месяцы блокады.

Наконец, 28 августа воздушным десантом была взята станция Мга – последняя отдушина, через которую Ленинград еще сообщался с Москвой и страной.

С чисто русским уважением к сильному и умному врагу рассказывали, что десантная дивизия немцев билась с гарнизоном до тех пор, пока не подоспели части ГГ.

Это был последний и неотвратимый, как судьба, удар. Судьбой была и сама блокада. Конечно, это и военное поражение, и тяжелый урок не столько правительству – оно, может быть, на лучшее не надеялось, – сколько всему народу и всей стране, которая гордилась своим Питером и была связана с ним тысячью нитей.

И вот эти нити были оборваны.

В огне и дыму пожаров, сея смерть и разрушения, колесница войны вплотную подошла к Ленинграду и описала вокруг него роковое кольцо.

Так началась блокада, длившаяся почти три года. С военной точки зрения, она, возможно, была стратегическим болотом, засасывающим и людей и технику, но в нем – совсем по-речному – текла кровь, и для осажденных не было ли оно мистическим воскрешением другого болота, засыпанного костями строителей Санкт-Петербурга? Через два века рядом с ними легли костями защитники Ленинграда.

В сухом, подожженном со всех сторон небе фонтанами взлетают и расплескиваются ракеты – пунктир фронта. Пожары кажутся едва заметными кострами, потом, вспыхивая чаще и чаще, к ночи разрастаются в широкую, подрагивающую бисерную цепочку – на весь горизонт. Вся земля в огне... Русская земля...

Тысячи согбенных людей в зареве пожаров смутными силуэтами стоят над могильным зиянием окопов – перед лицом Голода и Блокады.

Над исковерканной землей в тучах дыма повис раскаленный осколок луны – месяц. Месяц сентябрь.

11. «Административка»

Кто в России не сидел за всякие пустяки? Но есть люди как люди: посидели один раз – и хватит. Другим же везет: что ни кампания партии и правительства – они уже там. Будто тюрьма скучает без них, как поется в блатной песенке. К таким, видно, принадлежал и Саша Половский. 1-го сентября начались занятия в ЛИФЛИ (Ленинградский институт философии, литературы и истории), как и во всех учебных заведениях города. После лекций Саша засиделся в библиотеке, потом выпил пива в подвальчике у Калинкина моста и решил пройтись по Фонтанке. Шел он потихоньку и, забыв обо всем, о запретном часе также, напевал одну из самых жалостливых песен эпохи Гражданской войны – о «цыпленке жареном». И в самом интересном месте песни, как раз в том, где цыпленку «велели пачпорт показать», к Саше подошел милиционер.

– Предъявите и вы мне документы. Следуйте за мной без разговоров.

В участке участь людей, туда попавших, решалась быстро. Утром Саша познакомился с судопроизводством в военные дни. Оно было упрощено: за преступления высшего порядка судил трибунал, за мелочи – Административная комиссия, нечто новое в юстиции, чудовищное по своей простоте, несправедливости и глупости. «Упаси Бог от Административки», – говорили ленинградцы.

Во всех районных советах города заседали филиалы этой «что за комиссии, Создатель» – с утра до вечера. Судьями обычно были профсоюзные работники, чаще женщины. Никакие смягчающие вину обстоятельства не признавались. Профсоюзники, всегда верные слуги партии, принялись за «дело» так рьяно, что уже в первые дни войны переполнили все тюрьмы. Люди, выпившие во время воздушной тревоги и нарушившие какие-то правила ПВО, которых никто толком не знал, исчезали из дому. Они сидели в тюрьме без права переписки и свидания.

Месяц-два тюрьмы – срок небольшой, считали государственные мужи, а просто люди недостроенного, подвергшегося капиталистическому нападению социализма сбивались с ног в безуспешных поисках засевших родственников.

Седеющая деbeatая партийная старуха с лицом каменной скифской бабы, в окружении «пишмаш» (так называются все секретарши-машинистки по имени Ленинградской фабрики пишущих машинок— «Пишмаш»), полуответственных полумужчин, не взятых на фронт за дефективностью, и пионеров на побегушках. Эта заслуженная мегера, даже не взглянув на бедного Сашу, громыхнула, содрогаясь мощным бюстом:

– Один месяц.

Саша вздрогнул, «пишмаша» остервенело протарахтела на машинке какие-то жестокие слова – и приговор был подписан твердой не по годам рукой.

«Кто не был – тот будет, кто был – не забудет», – вспомнил Саша изречение старых революционеров, потом контрреволюционеров, входя в широкие ворота тюрьмы на Нижегородской улице, близ Финляндского вокзала. Он даже весело насвистывал: не в первый раз.

Это была старая тюрьма, построенная по типу «Крестов»: основной корпус расположен крестообразно. До революции «Кресты» были самой большой и страшной тюрьмой России. Теперь Москва и в этом выдвинулась на первое место: «Крестам» далеко до «Лубянки».

Сашу вкинули в большую камеру-гроб: голые стены, цементный пол. Посередине, на бушлатах, сидело несколько моряков с крейсера «Киров». Ленточек на их бескозырках не было. Очевидно, арестованным не полагаются. Матросы были осуждены за опоздание на корабль: за 5 минут – на 5 лет, за 10 – на 10. Одному за двухдневный прогул дали «вышку» (расстрел), но заменили двадцатью годами.

– Без нас войны не выиграют, – сказал он, – на то мы и балтийцы.

– Но что же с вами будут делать? – спросил Саша. – не сидеть же будете?

– Спишут в морской штрафной батальон, – сказал «вышак», – жаль, что нет штрафных боевых судов.

Саша представил себе: штрафной крейсер на всех парах бросается острой грудью на эскадру неприятеля, и... уснул.

Утром его послали на работу в тюремную баню, поражавшую чистотой и образцовым порядком, в установившемся при Сталине стиле издевательского бережливого отношения к человеку: его воспитывают, учат, лечат – и потом калечат где-нибудь, не дай Бог, в Нарыме или на Колыме, где как говорят, 12 месяцев зима, а остальное лето.

Саша с двумя «огольцами», мальчишками по 15–14 лет, мыл пол после каждой партии заключенных – казалось, им не будет конца.

Банщик, хам из разжалованных энкаведистов, почти ничего не делал сам. Командовал, матерился и делил скудный паек. Потом, когда появились пленные немцы (летчики), ему понравилось раздавать им кусочки мыла. Он встретил упавших с неба блондинов, как половой в гостинице. И не только он. Тюремное начальство по приказу свыше кормило «дорогих гостей» из особого котла. Утром – сладкий кофе с галетами, в обед каша с таким куском мяса, какой ленинградские рабочие имели только раз в неделю.

Через несколько дней Саша не вышел на работу и сразу же пожалел об этом.

Из рабочей «камеры», где он сидел с двумя напарниками, его перевели в такую же по размеру, но стояло в ней около сорока человек.

Административка работала.

Упасть в обморок было некуда. Бессильно оседавших, валившихся на плечи соседей выносили и, облив водой, снова вталкивали.

И это за ничтожнейшие проступки, чаще всего ни за что. И это в разгар войны, когда нужна каждая пара рук и ног, еще не оторванных снарядам.

Когда перевели в общую камеру, голую и холодную, все повеселели. Но, выползая из щелей деревянных нар, на сотни заключенных набросились тысячи клопов. Они шли в полный рост прямо среди бела дня. Борьба была неравной и кровопролитной.

12. Дракон, упавший с неба...

Когда это было? Какой-то студент влетел в общежитие с батоном белого хлеба в руке и объявил:

– Этот хлеб получен мной непосредственно из рук самой очаровательной работницы прилавка славного Питера. Спешите видеть! Новая булочница в новом магазине на Лермонтовском проспекте.

Все бросились в булочную. Кому надо и не надо – все купили хлеб. Какой-то первокурсник знакомился по всем правилам:

– А я вас знаю, вас зовут Маруся.

– Нет, Нина.

– Ах, да, Нина. Очень приятно. А меня – Ваня.

Теперь, как всякий видевший виды ловелас, Ваня должен назначить свидание и постараться хотя бы ради первого раза не опоздать. В большом городе любовь бывает в большой зависимости от трамвая, но здесь – рукой подать, и Ваня уже поспешил сообщить Нине, что «мы тут по-соседству, в общежитке, знаете?». С места в карьер он старается ликвидировать опасность соперничества: «Наших тут много болтается. Вы не того... Они все – прощелыги и насмешники. Циники, как говорят».

Обычно такой разговор прерывает какой-нибудь покупатель или свой же брат из циников, и Ваня ретируется: «Так вы закрываетесь в 10? Я буду ждать». Это – шепотом, свистящим, слышным даже на улице.

Познакомился и проводил Нину домой один Ваня, другой, третий. Все познакомились и проводили. И все возвращались с кислыми минами: «Девушка не из тех, а из этих, и не из этих, а из тех».

Только одного Сашу Половского не зацепило это повальное увлечение, а Дмитрий, в тот год опоздавший к началу учебы, познакомился с Ниной последним.

– Я давно о вас слышался, – сказал он.

– А я вас первый раз вижу. Что же вы раньше не заходили?

– Боялся влюбиться. Вся общежитка в вас влюблена. Ведь скоро сессия. Что тогда делать?

– Не бойтесь!

– А когда вы сегодня...

– Кончаю работу? В десять. Приходите и ждите.

Такое начало ему понравилось. Повалился провожать – благо недалеко: жила Нина в одном из деревянных домиков, целой деревней осевших за Балтийским вокзалом. Потом... Что было потом?.. Сессия, какой-то грипп, Тоня. Но сердце, занятое другой, отметило где-то в уголке своей капризной памяти: хорошая девушка Нина. И недаром отметило.

...Давно ли это было?.. Было ли это время счастливым?.. Нет, это было не так давно, и время было не таким счастливым, каким оно вспоминалось в сентябре 1941 года и каким оно кажется иногда в минуту слабости автору, когда все ушло в почти потустороннее далеко.

Не всегда удается переменить, как пластинку на граммофоне, воспоминания. Пойми меня, читатель, искушенный в воспоминаниях, особенно – мастер воспоминаний, эмигрант: студенческие годы, первые влюбленности, и главное – какой бы то ни было мир. Такой забытый и такой недавний мир.

Дмитрий хотел есть. После окопной янтарной чечевицы сидел на студенческом пайке: 200 гр. хлеба и кипятка, иногда с сахаром вприкуску. Кусочки сахара стали разменной монетой. Жиров и мяса на месячных карточках теперь, если даже не есть вволю, хватало на одну неделю – не больше.

Все чаще и чаще хотелось есть неожиданно, рефлексивно: идешь по улице, увидишь булочную с круглыми желтыми, как сдобный хлеб, буквами на вывеске – как не зайти?

Месяц только начался, а талонов на карточке у Дмитрия оставалось немного, она была уже «куцая» – не везде по ней дадут хлеба: забирать на много дней вперед запрещалось.

Но все же он решил рискнуть. В булочной на проспекте Майорова (б. Измайловский) было две очереди – к двум весам. Опытным взглядом оценил продавщиц – какая добрее. Определенно – блондинка. Но... неужели она? Да, это была Нина! Вот, если она улыбнется – и на щечках появятся ямочки, когда-то сводившие студентов с ума. «Воронки от поцелуев» – назывались эти ямочки. Но Нина не улыбнулась. Она работала механически, не глядя на покупателей. Какие теперь покупатели? Просители... Дмитрию показалось, что и он сказал просительно-виновато:

– Здравствуй Нина. Вот неожиданная встреча. Можно получить хлеб на после?

Золотистые ресницы ее вздрогнули.

– Митя, – спросила она тихо, грустно. – Откуда?

– С окопов. Так можно аж на после-после завтра?

– Конечно. И подожди меня, если есть время. Я быстро кончу свой хлеб и выйду.

Он ходил по проспекту, натываясь на бетонные надолбы, лестные знамения рогаток, и медленно жевал хлеб, начиная с коричневой, почти черной верхней корки. Пористая желтая нижняя корка, панцырьком предохраняющая мякушку, была с этой мякушкой отложена на завтра. «Завтра» пришло через пять минут... Он думал о том, что значит «кончу свой хлеб». Это и было первое, о чем он ее спросил, когда она вышла.

Она не удивилась такому вопросу после стольких-то «лет и зим», – ответила:

– Каждая продавщица принимает, строго по весу, определенное количество хлеба. Иногда его можно продать быстрее чем за 7–8 часов, особенно теперь: моментально расхватывают. Скажи лучше, где пропал?

«Ну и свинья же я, – подумал он. – Такая девушка! И почему я перестал «ухаживать»? И хоть бы написал...»

– Хоть бы написал, – сказала она, снова тихо и грустно.

Это было новое в ней, так шедшее к ее бледному, простому лицу, – тихость, печаль. Только ли в ней? В те дни таким был лик всего Питера-града, да и всей России.

– Я сидел, – неожиданно для себя соврал он, – шесть месяцев сидел в НКВД.

Попробуй кто-нибудь не поверить. Даже самый бессовестный лгун обидится: что, за человека не считаете? Она даже не спросила, за что сидел и как.

– А меня перевели вскорости в другую булочную, и никого из «господ неврастеников» больше не видела.

– Почему не эвакуировалась? – вопрос был обычным в Ленинграде тех дней.

– Все равно, куда ни поедешь, война. Отец уже убит. Мама поехала на лето домой, в деревню под Лугой, теперь там немцы. Мы с сестренкой остались одни в квартире. Пойдем к нам?

Он не успел ей ответить – завывла тревога, пятая или шестая за день. На этот раз – запоздалая тревога: в небе гудели надсадно моторы. На этот раз – роковая тревога.

В ясном вечернем небе, будто густой толпой, но если всмотреться – стройными эшелонами, прямым курсом шло несколько сот черных самолетов – медленно, бесстрашно, не обращая внимания на трескотню зениток. Загорелся один, пошел на спуск другой, почему-то отстал третий самолет. Но остальные, не нарушая строя, идут, идут. Вот уже первый косяк бросает зловещую тень – пока еще не бомбы – на крыши центра города. Идут дальше. Под ними, подожженные бортовым огнем, пылают аэростаты воздушного заграждения – огромные, похожие на акул, готовых, казалось, ринуться на врага. Но это беззубые акулы.

А черные машины все плывут, плывут в небе, все не бросают свой груз, гребут к какой-то им одним известной черте. И вот они, наконец, измотав весь город ожиданием, игрой в безвыигрышную лотерею смерти, достигли своей цели. Несколько бомб, легко прошелестев, разорвались негулко: пробные, по зениткам. И разом куда-то – пачками, гирляндами, гроздьями, сотнями тонн металла, раскаленного, будто прямо из доменной печи, адской печи войны. Близко звывило, рвануло, сотрясло.

– Ишь, как они нас, как они нас, – причитал какой-то рабочий в толпе, в подворотне.

– А слышите, гарь-то какая? Как на кухне.

– Не склады ли разбомбили?

– Молчали бы уж. Некоторым прямые попадания почему-то нравятся.

– Сама попала пальцем в небо, дура.

– Сам дурак!

– Что-о-о?

Подъехал на велосипеде милиционер в грязи и копоти. Все к нему:

– Где горит? Что?

Отдышавшись и закурив, и еще помедлив, замызганный представитель власти сказал:

– Бадаевские склады горят, вот что. Сам только что оттуда... А вы бы рассредоточились, граждане.

– Валяй, валяй! Лучше бы склады рассредоточили. Вот сгорит все зараз, что будем жрать?

Теперь конец...

– Довоевались, идола.

– Бить «их» некому!

– Как же, теперь есть кому.

И тот же рабочий:

– Ишь как они нас, как они нас...

* * *

Бомбардировка длилась около часа. Выходя на улицы после отбоя, люди останавливались в горестном изумлении.

Слоеные черные гроззовые тучи сцепились, упали на землю и бешено клубились в руках огня, в растопыренных пальцах – языках пламени, в когтях дракона, тоже сорвавшегося – или сброшенного – с неба. Все змеилось черными и красными полосами, вспыхивало ярко и трескотно, взбухало космато, рассыпалось вокруг. По улицам в районе пожара металась толпа обезумевших крыс.

Огненный дракон изгибался и трепетал, силясь оторваться от земли, вскарабкаться вверх, в чистую синеву – охладиться.

По тяжелым слоям – ступенькам дыма – юрко взбирались на небо краснорубашечные грузчики с мешками крупы, пшеницы, сахара и хлеба, хлебца, хлебужка.

Широкие полотнища пламени то рвались с треском, то вздувались, как паруса, льнули к высокой, чудом уцелевшей трубе, как к мачте корабля, плывущего по волнам дымного моря, – прямым курсом в небо.

Горели Бадаевские продовольственные склады – кладовая города. Из еще сильных и крепких рук осажденного Ленинграда был выбит самый крупный и надежный козырь.

Жирен был дым от сгоревших жиров, причудливо разбухал, как тесто на дрожжах, – от испеченной муки, горек от расплавленного сахара. Горько было сознание бессилия перед этой фатальной бедой, имевшей такие губительные последствия.

Над черным ликом пожарища долго носились дымы и дымки, демоны теперь уже неотвратимого ГОЛОДА.

* * *

Около домика Нины упало несколько бомб. Вылетели не только стекла, но и рамы, и двери. Во дворе, среди разбросанных вещей, на узле сидела сестренка Тамара и плакала, утирая слезы кулачком. «Совсем ребенок, – подумал Дмитрий, – и хорошенькая».

– Вот ты там себе работаешь, а меня здесь себе раз-раз-бом-било, – сказала она, тонко всхлипывая. – А это кто такой?

– Митя. Помнишь?

– Ага. Это, который студент? Вот хорошо! – она вскочила с узла и побежала в дом.

Около домишек толпились люди.

– Вот какой разгром фашистов получается, – сказал какой-то железнодорожник, приветливо улыбаясь Дмитрию, как старому знакомому. – Успевай только поворачиваться. Намедни в нашем доме слева стекла вылетели, а нынче справа. Как говорится, и в хвост и в гриву... А ужо, гляди, долбанут в анхвас.

– И зеркало раз-раз-бомбили, – в окно выглянуло чумазое личико черноглазой Тамары, и сама она выпрыгнула, как коза, на чемодан.

Он треснул, Нина ахнула.

– Дура неумная.

– Оно известно – дитё, – сказал рабочий, – а вы бы принимались за дело, пока не темно.

И помощник есть.

Кое-как забили окна фанерой и досками, навесили дверь. В коридоре лежало много досок.

– И откуда взялись? – удивлялась Нина, – вот кстати.

– Кста-ти, – передразнивала ее Тамара, – с неба падали, а я собирала: бывает же, рыбы падают с неба, и разные лягушки. А тут – доски. Да еще в бомбежку. Что удивительного? Хорошо еще, что не на голову.

– Они, наверно, не падали, а под руку попадались, – сказал Дмитрий.

– Все могло быть. Главное, на мой взгляд: не теряться.

Женщина с перевязанной рукой ходила по двору и у всех спрашивала:

– Куда девались мои досточки – ума не приложу. Вы не видели, случаем?

– Случаем, – ворчала Тамара. – Тут света не взвидишь, а она – доски захотела увидеть.

Где-то чья-то ловкая и добрая рука соединила оборванные провода, и в домишках зажегся свет. Далекая и, очевидно, да, конечно, красивая и нежная женщина мягко сказала:

– Продолжаем нашу передачу. Слушайте концерт-лекцию «Венский вальс».

– Я предпочитаю венскую булочку. Впрочем, у нас кое-что есть. Вот мы сейчас упрямимся, – сказала Тамара и, подоткнув юбку выше колен, вальсируя под музыку, принялась подметать пол и наводить порядок, т. е. рассовывать вещи под кровати.

К чаю у сестер нашлось довоенное печенье и шоколад.

– Теперь мы тебя, мил-дружок, не отпустим, – щебетала Тамара, – как хочешь, а оставайся с нами.

– Вы уже на «ты»? – спросила Нина.

– Мы на «мы», на мой взгляд.

– Ты у меня домыкаешься сегодня. Пойди-ка, достань это самое...

В квартире из трех комнат одна была «безработной». Тамара долго возилась в узлах, потом, с таинственным видом держа руки за спиной, подошла к столу.

– Угадай – что? – и, не дожидаясь ответа, подняла над головой бутылочку водки.

– Золотая рыбка в золотой ручке, – сказал Дмитрий и был награжден таким взглядом... Пожалел, что ему не 16 лет. В России со времени «Героя нашего времени» юноши в 20–25 лет уже вздыхают об «ушедшей» молодости.

И Тамара, дитя Северной Пальмиры, тоже сказала эту сакраментальную фразу, в войну сбившую многих с пути: «Все равно – война». И выпила, как большая, не моргнув глазом, только закашлялась.

Постелили Дмитрию прямо на плите, на Тамариных досках. Спал, как в детстве на полатах, с легким отрывом от пола, от избы – в мир полупрошлый, полубудущий, фантастический мир русской детворы, засыпающей под вой метелей – белых ведьм.

Ночью была еще тревога, но ее даже не слышали. Начали привыкать.

Ранним утром сестры провожали Дмитрия, как на войну. Какой-то узелок, тысяча пожеланий – и главное: «Приходи, не забудь; дал слово».

Обводный канал все еще тускло мерцал в дыму. Не в дыму – столбом, не в дыму – коромыслом. Над глеющим пожарищем повис огромный, бесформенный, обглоданный огненными вихрями слоеный пирог дымных туч. Было из чего небу его выпечь.

13. «Поцелуев» госпиталь

У осажденного города свои горестные сенсации. 11 сентября корабли Балтийского флота прорвали немецкую блокаду в Финском заливе и, огрызаясь, день и ночь шли к Кронштадту сквозь сплошную бомбардировку немецких крейсеров и авиации. Выведены из блокады почти все суда – крейсера, транспорты, катера, миноносцы, пароходы, тральщики, – но из них уцелела едва половина. Немецкие пикирующие бомбардировщики тучами гнались за разрозненными судами и топили их, топили...

Два крейсера, спасаясь, полным ходом вошли в Неву. С проломанными ребрами, с разорванными, как на груди рубашками, – флагами, но с высоко задранными носами-орудиями, они своим появлением озадачили не только случайных зрителей, но и высшее командование.

Тихо и скромно стали крейсера у Дворцовой набережной. Вслед за ними в Неву вошли еще несколько судов и бросили якорь у монументальной Биржи. Израненные, они прижались к гранитной набережной, словно прося у города защиты. Потом им самим пришлось защищать его: крепостями, батареями, самыми страшными для врага, стали они в долгие месяцы блокады.

Город был полон рассказами о тяжелом прорыве флота, и самими матросами – обезумевшими, презрительными и угрожающе спокойными.

– Эй, вы там! Посторонитесь, дайте утопленнику выпить! – слышалось у пивных ларьков.

Многие добрались на судах, как на перекладных: с одного потонувшего на другое тонущее, потом на третье, с пробоинами, – и так под непрерывную бомбардировку, гром орудий, фонтаны воды и крови, крики о помощи и морской мат – до Кронштадта и самой Невы.

В одном из больших морских госпиталей, и раньше не пустовавшем, сразу же палаты переполнились ранеными.

Тоня, только что откомандированная сюда с Карельского перешейка, где ей приходилось оказывать первую помощь лишь легко раненым, теперь работала почти круглые сутки...

Война застала ее в Ленинграде, на практических занятиях в Пироговской академии. Весь ее курс решил пойти в армию. В те дни это решалось быстро, и в конце июня она была на фронте. Война была как новая смертоносная жизнь – жизнь, полная смертельных несчастий. Сразу же пришлось кланяться железным мухам цеце, но уже в первые дни не всегда: не успевала, или из упрямства. Ежегодный с первыми холодами, легкий грипп не привязался к ней теперь. «Пошел в отставку по случаю войны, – подумала она, в душе подсмеиваясь над своими фронтовыми страхами, постелью йога – две доски с гвоздями, хотя и загнутыми, и всеми «земляничными» неудобствами. Земляники, кстати, в лесу была такая сила, что и немцы перед ней не устояли: слышно было, жрут и хвалят.

В санбат Тоня явилась с невиданным в здешних местах чемоданом – заграничным, подарком генерала. Но после первых же ехидных улыбок товаровок-сестер чемодан пошел в отставку. И многое, что было в нем: губная помада, пагубная для репутации, пудреница, роман «Наши знакомые» и, наконец, с некоторым душевным колебанием, дневник: два-три увлечения, поездка на Кубань, Алкаев, размышления о жизни вообще, о любви в частности. «Тоже не мешало бы в отставку, – думала она о ней, – но, кажется, и без меня отставилось. Оборвалась моя любовь в самом начале. Не судьба». Вспомнила, как всю ночь перед отъездом на фронт писала письмо Дмитрию. В этом письме – целой тетради – сухим и точным был только номер полевой почты. Все остальное запутанно-нежно. «Стоило ли писать... Все равно не получил». Она была уверена, что Алкаева нет в Ленинграде.

Оставалось еще зеркальце – парижское, зависть студенток всех курсов: в кожаном футляре, на обороте – с глянцевым личиком мидинетки над двумя строго симметричными полушариями голой груди, – оно после больших душевных и даже физических колебаний,

последний раз отразив Тонино расстроенное, но решительное лицо, перешло в трепетные руки старой фельдшерницы, называемой фельдьящерицей. Тоне были подарены новая пилотка и командирский ремень.

Нет, это не было только швыряние дневников и баночек из заморского чемодана, а потом и самого чемодана, в лес, это не была просто бесконечная примерка сурового обмундирования, обмен чулок на портянки, гимнастерки на стеганые штаны, белого халата на серый. Это было преобразование внутреннее и внешнее. На таких девушек, в грязных они халатах или чистых, с красными крестами или красными звездами, – падал отблеск Преображения Господня, отблеск Христовых риз.

А с чемоданом вышла целая история. Его подобрал денщик полковника, командира дивизии, хитрая и властная личность, называвшая себя – Тимохвей. Стоило в штабе появиться какому-нибудь гостю, особенно в часы-минуты отрешенного фронтового затишья, – как уже звали:

– Тимохвей, покажи свой трохвей.

Показали чемодан и новому командующему армией, генерал-лейтенанту Попову. Улыбнулся генерал, спросил:

– А нету ли у вас тут такой сестрички, Черской?

– Это блондиночка такая суровенькая? – спросил комдив. Тоню позвали.

– Так-то ты ценишь мои подарки? – грозно встретил ее генерал, указывая на лежащий посреди комнаты – пьедесталиком – чемодан. – А ну, подойди, поцелую. Дочь моя. Приемьш ты мой. Подкидьш лет двадцати.

После обеда генерал пошел по рубежу дивизии. Рубеж был такой, что – не каждый кустик ночевать пустит. Почти на каждом шагу вырастали, отряхиваясь от листьев, солдаты и молча приветствовали. Круглые крепостцы дотов, глазницы и амбразуры с живыми зрачками пулеметов, бесконечные противотанковые рвы, бивни тяжелых слоновых гаубиц и пушек – здесь все было готово к обороне. И ничего к наступлению.

В этот вечер на всем протяжении Карельского участка фронта сосны и ели на все наложили свои зеленые лапы – маскируя, утихомиривая. Не все же сходить с ума! Смотрите – закат-то какой. Из-за холмов, утыканных сквозными спичечными сосенками, доплескивал из этого неожиданного моря тишины – тихий колокольный звон.

Генерал, Тоня и полковник заспорили, какого вероисповедания финны.

– Немецкого, – сказал Тимохвей, имеющий право совещательного голоса, а иногда и решающего. Все с ним согласились.

Всем остался доволен генерал на участке дивизии, кроме Тони. Никак не мог ее уговорить переехать в санчасть при своем штабе.

– Я против семейных лавочек, – сказала она хмуро. – И вообще, сам знаешь: война, и я уже не маленькая.

– Имей в виду, – сказал он, уезжая, – я буду жаловаться по начальству – жене и мамаше. И за чемодан, и за геройство, или как там... безумство храбрых, и за письма твои короче твоего носа.

Через несколько дней Тоня получила приказ о переводе в город, в военно-морской госпиталь. Это касалось всех студентов-медиков. Генерал тут был ни при чем. Пришлось подчиниться. Вернулась в Ленинград, без чемодана, помады, зеркала. Все осталось в Карельском лесу. Там осталась и прежняя Тоня.

Часто вспоминала слова профессора, провожавшего ее курс на фронт:

– Можете забыть обо всех наших знаниях и учиться снова – у военных врачей. Среди них есть много скромных дельных работников. Все ваши уши, горла и носы теперь никого не интересуют. Война отрывает их сразу, вместе с головой, а если нет, то все равно – лечить их некогда. И не лейте слез – это никому не поможет.

«Не поможет», – не раз шептала Тоня, склонясь над каким-нибудь матросиком. Много их умирало в те дни. Фантастический прорыв фронта, героизм и значение которого не оценили обе воюющие стороны, дорого обошелся военным морякам.

Госпиталь был конвейером, раздваивающимся в конце: с одной стороны – скажем, с левой – везли в мертвецкую, с другой, с правой – в жизнь, тоже разделенную надвое: фронт и тыл.

Само Балтийское море несло сюда тысячи раненых на волнах бушующего прибоя. Тоня не раз хотела бежать от этого наводнения крови, наплыва безногих, безруких, полуживых, полутрупов. Но потом, с невысыхающими от крови руками и от слез – глазами, она устыдилась своего малодушия – перед тем глубоким морем страдания, что она видела в глазах молодых людей, еще так недавно бывших такими же здоровыми и жизнерадостными, как она.

Пульс ее капризной и своенравной природы с каждым днем войны бился тише, спокойнее, печальнее. Война вызвала к жизни доселе дремавшие душевные силы, настойчиво и мягко проступили черты исконно русской женщины: упрямого терпения, готовности к взрыву подвига или медленному горению страдания.

Здесь, в госпитале, заканчивалось Преображение.

...Перед нею лежала история болезни Ивлева, «род. 8.9.1919 г. в гор. Гирей, Краснодарского края», студента четвертого курса МАИ, бывшего на практике в авиации Балтийского флота. Потом перед нею лежал и сам Ивлев. Правда, он спал, с головой укрытый простыней. С выпукло проступавшими бицепсами скрещенных рук и широкой грудной клеткой, он никак не походил на труп, – скорее на не совсем классическую (уж слишком долговяз) гипсовую фигуру атлета. Вот сейчас придет скульптор, сорвет покрывало, полюбуется, покажет друзьям и отправит свое творение на выставку. И пришел главный хирург с двумя ассистентами, и откинул простыню, и открылось недовольное, гипсовое лицо притворно спящего атлета, с фиолетовыми веками и длинным носом.

– Молодцом, – только и сказал врач, – а ведь контузия была тяжелая, и ранение в голову.

Отошел старик довольный, а Ивлев снова так натянул на голову простыню, что хоть бей, как в барабан. Больной не признавал одеяла – в палате было тепло.

Да, он никак не походил на труп. Смерть немного поработала над ним. Хирург-скульптор оказался сильнее. Другой бы на месте Ивлева как укрылся простыней по-покойнически, так бы под ней и остался.

Тоня несколько раз пыталась поговорить с земляком, но безуспешно. «Ранение в голову сказалось», – думала она. «Буду прикидываться пришибленным, скорее выпустят, – думал он, – а девка ничего. В ней что-то слышится родное».

В одно из вечерних дежурств Тоня услышала, наконец, слабый, но уверенный голос больного:

– Это вы бросьте, мамаша. Нету Бога.

А старенькая сестрица, выморощенная монашка, только без «формы», – свое:

– Ан, глядишь – и есть.

– Где же это – «глядишь»?

– А хотя бы на том свете.

– Ну, я туда не собираюсь.

– Сколько тут таких было, тоже не собирались. Не дай Бог, конечно. А вы бы лучше помолчали. У вас жар. А Бог есть.

– Нету, – шипело свистящим под простыней, горячим и каким-то почти злобным шепотом. Тоня знала: родная одинокая душа мечется в жару, страдает сильный, терпеливый и озлобленноупорный человек из тех, кто до самой смерти не сдается смерти.

– Ну и раненые пошли, – сетовала старушка, отойдя с Тоней от Ивлева. – Какие то все непримиримые, злые. Никак не могут смириться со своим несчастьем. А все оттого, что веры нет.

– Да, это вы правы, – сказал Ивлев. – Нет веры: ни в Бога, ни в черта, ни в победу, ни в пар...

– Вам спать надо, – строго перебила его Тоня, давно уже усвоившая язык и манеры медицинских сестер.

– А это беленькая, – под простыней зашелестело, зашипело, как в испорченном механизме, и прошептало покорно и добродушно: – Ладно, вас я послушаюсь. Уже сплю. Я же не виноват, что такой слух у меня. На нашей авиаматке – «авиамайке», как говорил боцман из сербов, служил вместо звукоуловителя. Только и знал кричать: «Воздух». Вот меня и шибануло этим воздухом. Два часа плавал, пока вытянули. Ну, сплю.

Пришлось отойти от него еще дальше. Доверительным шепотом старушка сообщила самое важное:

– Ночью-то не спал. Бредил. И как вождей крыл, как честил... И все Политбюро, говорит, и всех ихних родственников, и еще мало того, сто верст вокруг. Не до смеха. Что-то надо было придумать. Я уж его в одеяла кутала, кутала, чуть рот не затыкала...

– Вы сегодня с кем дежурите? – спросила Тоня.

– С Ивановой.

– Это славная девочка. Других старайтесь не подпускать к нему. Понимаете... На сто верст вокруг.

На следующий день Тоня поместила Ивлева в палату тяжелобольных. Там казалось безопасней. Бред был обыкновенным разговором.

– Куда ты прешь?.. Не видишь – там немцы...

– Где немцы?

– Бей прямой наводкой.

– Поздно!

– Эх, мать моя родная...

В первую же ночь на новом месте Ивлев вступил в этот нестройный хор. Сосед справа, лейтенант, внимательно прослушав одно из его выступлений, в котором гнев против партии и правительства распространялся на многие версты вокруг, пожаловался дежурной сестре:

– Здесь некоторые антисоветской агитацией занимаются. Надо выяснить, кто такой. Дайте-ка мне карандаш и бумагу.

Другой больной сказал:

– Такое карандашом не пишут.

И кто-то хрипло:

– Сволочь, чтоб ты сдох.

Лейтенант умер с карандашом в руках, не дописав доноса.

Долго думала Тоня, куда бы перенести Ивлева. Наконец придумала.

Старушка, придя, как всегда, на дежурство раньше времени, услышала из комнаты тяжело раненого генерала:

– Что? Митька?.. Да я его в пятом классе один раз ка-ак звезданул по кумполу. А то, знаете, любя дрались. Любя – это значит, ни из-за чего. А дрались по-настоящему. Учитель физкультуры, физрук, бывал у нас обычно арбитром. Строго судил, по всем правилам. А как через забор на выставку? Он не рассказывал?..

– Нет.

– Ну, тогда и я не буду, Тоня. Но где он теперь?

– Не знаю. Не в городе, конечно. Я ему два раза писала на общежитку. Никакого ответа.

– Ну, вы же знаете нашу почту.

– Да он знает, где я живу. Зашел бы. Письмо там оставила – большое.

– А здесь дела плохи. Флот пропал ни за грош. Без него городу крышка. Но я бы никогда не сдался. Вы знаете, меня словно подменили. Я таким патриотом стал – хоть доносы пиши.

– А как же сто верст вокруг? – смеялась Тоня.

– Ну, это одно другого не касается. Но кусается. А родину я люблю, в неизмеримо большом диаметре. Вот поправлюсь – и на фронт. Мы не отдадим Ленинграда. Даже за один этот кусок гранита, что я вижу в окне, я бы держался зубами. Как этот мостик называется, такой горбатенький?..

– Поцелуев мост.

– Здорово! Какая роскошь. Можно вас поцеловать в щечку?

– Можно, – Тоня сама поцеловала его в лоб – весь в испарине еще не угасшей муки.

– Бедный Митька. А за ним что?..

– За кем?..

– За Поцелуйским мостиком?..

– Дальше – Оперная площадь, Оперный театр, консерватория, памятник Глинке, какая то церковь.

– Красота! Я еще там не был.

– Знаете, вы подлежите эвакуации. Не придется вам защищать Ленинград.

– Что?.. Не может быть.

– Я приказ видела. И вы, и генерал.

– Вот здорово... Чудеса, право. То никому я не был нужен, а то... Вы знаете, что я на авиаматке делал? Без конца разбирал моторы. Иногда собирал, если не лень было. А то еще самолетика разгонял по палубе. Как толкну его в хвост – так и летит, как из пушки. Это называлась практика. Пьянствовал. Потом – война, и почти сразу – амба, то есть крышка.

Генерал спал. Он почти все время спал. Его и ранило – в живот – спящим. В промежутках между сном он тоже ругал всех вождей и, главным образом, их родителей.

– Спелись, соколики, – докладывала Тоне старушка. – Так и честят, так и честят, на чем свет стоит, один другого лучше. И меня не стесняются. Ероиня – говорят. Такая, говорит старик, своим тельцем еще как может пулеметное гнездо закрыть, осенив себя крестным знаменем. А молодой подпевает: и красным знаменем. А потом, говорит, на Марсово поле. Черные лошади, фанфарный марш, салют, все плачут. А то прямо в мавзолей...

– Я им сделаю выговор, – пообещала Тоня.

– Да не мешает. Постыдились бы. За ними ухаживаешь, а они только насмешки знают. Главное – старый хрен меня донимает. Вот, говорит, еще кусок желудка вырежут, – можно и жениться на вас. Все равно пропадать.

Тоня тоже не была им помехой. Обыкновенно, держа термометр, они продолжали свое наболевшее:

– Представьте, молодой человек, на фронте даже песни поют:

Солдатушки, браво ребятушки, где же ваши танки?..

Да буденовски тачанки – вот где наши танки.

– Эх, на тачанку бы все Политбюро, да в Финский залив с обрыва, туда, куда моя бедная авиаматка отправилась. К этому богу. Птун или не Птун, как его называют.

– Нептун.

– Во-во. К Нептунчику бы их в гости.

Тоня смеялась.

– Эх, хороша девка, – басил генерал. – Да разве таких можно немцу отдавать? Вот уж я поправлюсь, я им покажу.

Через две недели генерал и Ивлев сошли с госпитального конвейера вправо, прямо на самолет. В Москву. Боевой генерал и студент МАИ были одинаково ценным «грузом».

Ивлев на всю, может быть, недолгую жизнь, запомнил этот госпиталь – грандиозную глыбу, ноздреватую окнами, серого камня петровского гранения.

Он даже дал ему название:

– Спасибо тебе, Поцелуев госпиталь, – шипел, снова потеряв голос от волнения, целуясь с Тоней на прощанье.

– Спасибо вам, милая землячка, старушке-ероине также. А меня ждет другая старушка – Москва. Люблю ее и все предместья на сто верст в окружности.

– Вот как Ленинград из окружения выберется без нас? – ворчал генерал.

Тоня была счастлива стоять «на подхвате» у правого крыла госпитального конвейера. Генерал с Ивлевым были первые, сходящие с ее «неколебимых» рук.

14. Спите, герои

Наконец Саша вышел на свободу – в порыжевшем, по-собачьи облезшем костюмчике и с одним рублем в кармане. Что чувствует человек, вышедший из тюрьмы, в первые минуты дурмана свободы? Сашу, например, второй раз поразила свобода идти куда вздумается: направо или налево, по той или другой улице, только подальше бы от тюрьмы. Это было простое и приятное чувство, доступное пониманию только тех, кто его испытал. Все мы ходим по земле, как хотим, но не у всех за плечами тюремные ворота, или несколько их – этакой анфиладой.

Целый месяц Саша был оторван от мира. От мира, в котором давно забыли о мире в урагане войны. Как идет война? Что еще ей – немцам – отдали? Не взяли ли что-нибудь, хотя бы для престижа, обратно? Нет, ничего не взяли, а отдали много. И в каждой сводке – «превосходящие силы противника» и «заранее подготовленные позиции». А сколько зверств... В конце концов перестанешь верить или привыкнешь – как будто так и надо.

И воздушная тревога без конца. Пока доехал до Московского вокзала, пришлось три раза выходить из трамвая и идти с равнодушной толпой куда-нибудь в подворотню, лишь бы с глаз милиционера долой. К общежитию подъехал под звуки, кажется, шестой тревоги и встречен был «басенятами» восторженно. Случайно все были дома. Кричали:

– Качать его, чертенка пухленького!

– Да здравствует первый поэт – узник Административки.

Качали. Расспрашивали. Возмущались. Сами рассказывали. Притащили от дворника кровать, постель. Саша сидел именинником и пил чай, даже с сахаром. Потом повезли его на Невский.

– Едем в кинотеатр «Художественный», – сказал Дмитрий, – мы давно собирались. Там идет старинный раздирательный фильм – не то «У камина», не то «У плиты», с Верой Холодной в главной роли.

– И совсем не «Художественный», – поправил Руднев, – теперь он так и называется: «Кинотеатр старого фильма». Был «Убо-жественный», стал – «Божественный».

Но посмотреть ископаемый фильм не пришлось. Прошлой ночью в кинотеатр попала бомба. Куски рекламы и кирпичи валялись у разъятого на две части вестибюля.

– Вот тебе и «Божественный», – ворчал Саша. – Раз-бомбежественный. И вы все ослы. Все время живете на воле и никогда ничего не знаете.

В утешение решили выпить пива. Это было не так просто, как месяц назад, но голь на выдумку хитра, особенно голь студенческая. Зачем становиться в очередь, когда можно подождать тревогу. Если ее не было, то вот-вот взвоят. Очередь рассыпается в разные стороны от ларька, а наш брат, наоборот, со всех сторон движется к ларьку: короткими перебежками, почти по-пластунски, от угла к углу. И едва ударит отбой, как они уже первые в очереди. Пьют сразу по несколько поллитровых кружек – в запас и чтобы «дома не журились».

Саше такая «метода» понравилась. Только после третьей кружки, переведя дух, он спросил, наконец, о занятиях в институте.

– Увидишь сам, – ответил Дмитрий, – какие теперь занятия. Завтра пойдем. Ведь довоенный закон об обязательных двух третях учебных часов теперь не действует. Ходим, когда хотим. Правда, директор грозит, что не выдаст продуктовых карточек тем, кто почти совсем не посещает лекций.

Пройдя через три воздушных тревоги и три пивных, вернулись на Невский.

– А я слышал, что в кафе «Квисисанна» дают фруктовое мороженое, – робко заметил Сеня Рудин.

Пошли проверить. Мороженое давали. Чем-то подкрашенные кусочки льда проглатывали с энтузиазмом, читали стихи, гремели стульями. Поэтому свист, этот широкий плотный

росчерк снаряда по небу, который услышали все, кто в этот момент был на Невском, до них не дошел. Но тем большее, почти восторженное, удивление выразили их вдруг поглупевшие лица, когда почти напротив кафе, на другой стороне проспекта, сверкнуло кустиком, ударило – и задымилась разорванная снарядом голубая крыша Аничкова дворца.

Несколько человек упало посреди проспекта. Их по-тюленьи распластанные фигуры казались совсем детскими на асфальте, на фоне колоннады Дворца для детей. Все поднялись, оглушенные, но один с портфелем еще полежал немного. Когда к нему побежали, он поднялся сам – испуганный, не верящий, что остался жив. В толпе засмеялись.

- Пощупай себя, товарищ.
- В мягкое место не угодило?
- Портфельчик-то не забудь.
- Что зубоскалите? Это ведь конец нам приходит.
- Да, уже теперь без всякого предупреждения начнут трахать...
- Ничего, когданибудь и мы трахнем.
- Молчи, трахало.

Закричали милиционеры, зазвонили трамваи, все двинулось, успокоилось в движении. Первый снаряд, как и первые бомбы, не показался страшным. Но – лиха беда начало.

Это был первый гвоздь, вбитый в распятое тело осажденного. Воронья гора каркнула: возвестила новый, кровавый этап блокады.

Несколько дней, вопреки ожиданиям, немецкие пушки молчали. Но авиация методически вхолостую налетала днем и два-три раза бомбила вечером и ночью.

По вечерам студенты собирались в одной комнате вместе с полужнакомыми девушками-второкурсницами, случайно оставшимися в городе. Они никогда не сходили по тревоге вниз, оставались с мужчинами.

- Почему не страшно? – спрашивали.
- Потому что мы с вами, в частности – я, – отвечал Саша. – Я давно уже заметил, что во время бомбежки по мне с бешеной скоростью циркулируют всякие бесстрашные патриотические токи... Что за смех?
- Да мы ничего.
- И я думаю, естественно, что эти токи передаются и вам – каждой по способности. Разумеется, при условии полного контакта. Поэтому прижимайтесь крепче.

Девушки прижимаются покорно. А бомбы где-то падают с нарастающим шелестом, и, опереженные мгновенным блеском, тяжело раскатываются взрывы.

Но всему бывает конец, хоть и не всегда. Взрывные волны уже несут на своих краях тишину передышки. Отбой – четкий, радостный голос артиллерийской трубы в репродукторе – встречают криками «Ура!» и поцелуями.

– Отбой воздушной тревоги, – три раза повторяет диктор. Иногда он не успевает сказать все три раза, снова воеет сирена и включается метроном, он для многих уже отсчитал последние секунды жизни: мерный вязнущий в тишине стук, таинственный и жуткий, как ход башенных часов в замке с привидениями. А над головой какой-то курносый блондин, бывший слесарь или мамин сынок из страны классического сентиментализма, уже открыл люк, и уже свистят бомбы.

Голос диктора никому не нравится: тревогу объявляет слишком испуганно, отбой неуверенно. Будешь неуверенным – вот снова воеет тревога. На этот раз бомбы рвутся далеко, едва ощутимым толчком. Но зажигательные бомбы, словно колесики зажигалок по кремню, чиркают по крышам и мостовым. Иногда они «дают прикурить»: вспыхивают пожары. Но не так часто, как, очевидно, ожидали немцы да и сами осажденные. Кто же знал, что тысячи детей ползут на крыши и, обжигая ручонки, будут тушить ненавистные «зажигалки».

Отыскался след Тараса – Баса. В одной из междубомбежных пауз радио успело сообщить, что отделение партизанского отряда под командованием студента ЛИФЛИ товарища В. неожиданно для немцев заняло населенный пункт М. под Ораниенбаумом и...» Новая бомбардировка помешала узнать, что натворил Бас в населенном пункте М. Забыв о бомбежке, землетрясительной полосой идущей где-то совсем рядом, наперебой придумывали планы соединения с отрядом Баса.

– Главное, ни у кого не спрашиваться. Сами поперем.

– Во-во. Походным порядком...

– Оно бы лучше пароходным.

– А самолета не хотел?

Пришел сынишка дворника, семилетний веснушчатый Игорек. Сознание ответственности за весь дом, а то и за весь город – не давало ему спать. И в два, и в три часа ночи можно было слышать важное сопение на лестнице. Ни разу не видели его в подвале, а с крыши он слезал только после крупных угроз.

– Я пришел, чтобы вам напомнить, – сказал он, – чтобы завтра двое дежурили на чердаке. Кто у вас по расписанию – разбирайтесь сами. Я там, конечно, сам буду. Вы же мне знаете. И затмению поддерживайте в порядке, иначе папаня свет совсем выключит.

– Да у нас и так у всех затмение...

– А на этом, которое коридорное окно, нет. Поймите же, это безобразия. Вот я открываю сейчас эту нашу дверь, а свет-то и бросается в окно. А еще, – малыш для пущей важности, или подражая отцу, широкими шагами ходит по комнате, задевая стулья, – я хотел сказать, что мы с Ваняткой вчера пропасть зажигалок погасили. Одна около моей ноги таки и впилась, зануда. А я ее – за хвост, да на мостовую. Ванятка шесть штук оторвал, а я десять. Правда, он первый раз, методы еще не знает, да еще руку обжег. А ребята из пятого номера хвастаются, будто сто штук погасили. Врут, поди.

– Ну поди, поди, герой. Ты сам не заливаешь ли?

– Их нельзя заливать. Тогда они еще пуще горят, стервозы. Ну, я пойду. Смотрите же мне!

– Есть, товарищ командёр.

Дворниченок, степенно заложив руки за спину, потопал вниз. Маленький ленинградец, из многих тысяч таких же сероглазых, чье детство озарилось большими пожарами большой войны, чьи жизни закалились в огне как сталь или сгорели, как соломинки.

– Спице, герои – сказал Саша, – желаю вам спокойствия в ночи.

Успокоенная тишиной в воздухе, возшла луна. Бездонный парашют небосвода держал ее над землей, как осветительную ракету, – над всеми фронтами сразу.

Над всеми усталыми людьми, над сонными провалами их душ, в которые вламываются всякие дикие, и нелепые, и чудесные сновидения.

Вот тихо посвистывает Сеня Рудин. Его простое круглое лицо спокойно. Вася Чубук мечется, что-то бормочет во сне, очевидно – стихи. Длинные волосы спутались, упали на лоб, достают до тонкого носа. Саша вздрагивает и ежится. Дмитрий сбросил на пол одеяло. Ему снится всё родное: дом, братья, Тоня. А на одеяле, что он сбросил на пол, спит, мерно вздымая могучую грудь, Бас... Он только что пришел тихо, как сильный и усталый зверь в свою берлогу. Ему тоже снится родной тесовый дом и пельмени. От чмо-кательного движения губ и от храпа, напоминающего рокот истребителя, шевелятся его партизанские усы в полколечка.

Спице, герои... Мало кому из вас суждено увидеть родной дом, пусть же он вам хоть приснится. Все вы как индейцы Лонгфелло, вступили на тропу войны, пересеченную звериными следами столетий, и пошли по ней, следуя поговорке «Волка ноги кормят».

15. ЖИТЬ МОЖНО

– Вечера моих фронтовых воспоминаний не будет, – твердо сказал Бас, – тем более, что на дворе утро. И первый снег. Эта дата знаменательна еще тем, что в этот день враг хотел взять город.

– И еще тем, что Бас пришел спасать нас, – добавил Саша.

Много можно было бы сказать о Басе, но сам он о себе помалкивал. Известно было только, что восьми лет он смылся из дому в Ташкент, который в 20-х годах заменял русским детям Америку. Почти всю Россию исколесил он пассажиром 4-го класса, т. е. под вагонами. Только в конце нэпа вернулся домой. Рассказывал: «Мамаша встретила грозно: скалкой. Побила, потом заплакала, потом я съел десять котлет, и она снова заплакала: отцу на ужин ничего не осталось».

Когда Баса принимали в комсомол, спросили, как он жил в бегах.

– Вопрос странный до дикости, – ответил он. – Разумеется, приворовывал, а частично подрабатывал.

Более он не распространялся. Так и сейчас.

– Конечно, я повидал кое-что, – говорил он, – но вспомните известную нам синодальную писательницу Ольгу Шапиро: все или почти все, о чем бы я вам ни рассказывал, давно уже расписано в нашей прессе. И поверьте мне, почти все, что вы читали, – правда. И за эту правду немцев надо бить до тех пор, пока они не запросят мира, и даже если запросят, бить дальше, до самого Берлина.

– О себе, о себе расскажи, – просили.

– Что ж о себе? Партизан из меня не вышел: походка тяжелая, да и характер тоже. Вот один эпизод... Словечко тоже: «эпизод»... Я понимаю, если я пошел до ветру, а мне всадили пульку в мягкое место, это – эпизод. А когда кровь ручьями льется...

Наш отряд рейдировал от Риги до Ораниенбаума. В одном селе я вижу: согнали на площадь население. Прусь туда. Бородища у меня, автомат под тулупом, гранатки – «лимонки». Знаете чувство оружия?.. Нет? Погодите, узнаете. Кажется, чего не могу сделать? Человек с оружием – он не только смел. Я и без оружия не был трусом. А тут я был – гордый. Да еще злой. Походка тяжелая, аж земля под ногами хрустит. Плечами людишек распахиваю, население это самое. Ведь у нас, партизан, иначе не говорят: не граждане, не товарищи – население. Поднимаю глаза – виселица. И веревку уже прилаживают, а под ней мальчишка. На груди у него (какая там грудь – цыплячья) дощечка: «Партизан». Был ли он партизаном, я и до сих пор не знаю, но выглядел он вроде меня, грешного, в ранней молодости, когда меня милиционеры из-под вагонов гоняли... Чумазенький, замухрышечка такой. Много я повидал, но тут сердце совсем по-селезеночному екнуло. Эх, думаю, не дам мальчишке пропасть. Но – как?

Немцев целый взвод. Они же любят вешать. Фотографируют, улыбаются. Этак по-сверхчеловечьи. И населения этого полно. Девки режут, мужики сопят. И я чуть не плачу, не зная, что делать. Холодно. Мальчик уже и без петли посинел... И вдруг, как в сказке или как в боевых эпизодах под редакцией Лозовского, налетает шестерка «ястребков». Побомбили вокзальчик, и на толпу. Им там не видно, кто и что. А может, и видно. Все – врассыпную. Немцы – тоже. А мальчик стоит себе, привязанный к столбу веревками толстыми, как морские канаты. Я рублю эти чертовы «концы» и прую мальчонку, как кораблик, которому суждено было, видно, плыть да плыть...

Но куда его девать? Была у меня явочная «фатера», жеребец там мой стоял наготове, впряженный в двуколку, – всегда, если я уходил ненадолго. Тащу мальчонку туда. В конце концов привез его к нам в лес. А через неделю откомандировали меня в институт, доучиваться. Не угодил, видно. И неужели это правда, что вы учитесь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.